Навстречу солнцу

Вениамин Залманович Додин

SHOUT
SHARE
IT

- Навстречу солнцу
  -
  - Часть 1
  - Часть 2
- notes
  - 1

Навстречу солнцу

Из Японского Дневника
Вениамин Додин

Часть 1

Вторник 1–го октября 1991 года.

Отправляюсь в первое большое путешествие из Израиля — к истокам Славы и Несчастий моей матери. Маршрут полёта «Боинга-747» авиакомпании «Эр Франс»: «Бен Гурион» — Средиземное море — Греция — Адриатика — Италия — Швейцария — Франция — аэропорт «Де Голль»… Здесь — пересадка. И — в Японию.

Особо запомнилась Адриатика. Самолёт плывёт вдоль Восточного берега Италии на Северо—Северо-Запад… Берег в дымке. А море ослепительно ясно и гладко зеркально… На Юго—Востоке, где–то в тумане бронзовой дали, Югославия. Там, — на Балканских войнах, — мама отбывала каторгу Полевого Хирурга… Конечно же, глубоко тронул вид Альп и Сам Монблан… Маленький, низенький совсем из иллюминатора пролетающего высоко над ним огромного самолёта… Вижу пропасти у его оснований. Ледники, что спускаются с его склонов. Наблюдаю макетность хребтов и скал… Стараюсь представить сонмы человеческих трагедий, издревле бушующих у малых его спутников. И даже пытаюсь пережить триумф взошедших на Его Вершину и покоривших Его. Но отсюда из Тропосферы, — в сущности — из Космоса, — всё это, тем не менее, не смотрится. Не воспринимается драматическими реалиями. Более того: всё, что там, внизу, — мелко… Потому сразу пытаюсь подавить плебейское тщеславие небесного наблюдателя над побеждённым Величием Монблана. Подавить ощущение «победы» прогресса над Царственным Величием Его. Подавить состояние сытого превосходства над Создателем — Природой. Понять, что я — комар, летящий над горящей тайгой… Это отрезвляет. Потому, разглядывая величественнейшую панораму Европы, начинаю переживать до обидного заземлённую ситуацию: критическое положение с финансами в руководимой мною Организации «Спасение». Вообще–то — состоятельность этого замечательного маминого детища беспокоит меня постоянно вот уже более полувека. С тех пор, как осознанно принял на себя руководство его деятельностью. Теперь же беспокойство это многократно усилилось потому, что «Спасению» нанесен ещё один, пожалуй, наиболее болезненный удар: под предлогом «острого дефицита продуктов питания» власти резко, до размеров издевательских, сократили вес и ассортимент и без того убогих «по правилам тюремного распорядка» передач в следственные изоляторы, и вовсе запретили их в лагерные ШИЗО. Уже с июля 1990 года был

прекращён допуск врачей — специалистов «Спасения» к больным зэкам Печёрских и Уральских лагерей /Допуск медиков по нарядам нашей Организации в лагеря Зауралья прекращён был ещё осенью 1989 года!/. Прокуратура СССР и Министерство юстиции запретили рассмотрение жалоб и апелляций по делам подследственных, вносимых нашими юристами. Между тем, именно со второй половины того же 1989 года рухнул рубль. И, практически, оказалось неэтичным обращаться к врачам и юристам, предлагая им тратить их время и силы на помощь арестованным без какой либо оплаты — испарились собственные их возможности прожить без солидного приработка! В конце концов, эти люди ничем не были нам обязаны. Они работали на ниве «Спасения» по велению совести, и, конечно, из чувства профессиональной гордости тоже… Низкий им поклон! Но семьи–то содержать нужно…

Конечно, лететь вот так вот, — полуспя в удобном кресле, — над горными массивами Альп было приятно и безопасно. Но, при этом, не плохо бы, часом, вспоминать: там — внизу, — ледяной холод снежных вершин; тысячи внезапно, без предупреждений сходящих лавин, что хоронят под собою живых людей. И что там же, — в чёрных щелях трещин, и под ослепительными снежными завалами, — невидимые из космоса смельчаки многими сутками под патронажем сенбернаров ищут лихорадочно, а потом кровавя руки и надрывая сердце выскрёбывают из–под сорвавшихся ледяных масс ещё дышащих, ещё пытающихся освободиться от многотонной тяжести бетонно–затвердевшего снега живых людей… И мёртвых тоже. Как мы стараемся выскрести из «братских могил» бесчисленных тюрем и каторжных лагерей безвинно гибнущих там людей. И эта наша работа никому, кто не знает, что есть российский суд, или страдания заложника, не видна так же, как отсюда, из тропосферы, не виден труд безымянных спасателей…

Мысль об этой «несправедливости», которая во все иные времена в голову не пришла бы, заверещала во мне именно потому, что, вот… лечу в замечательном самолёте… Внизу — удивительно красивый горный пейзаж, — Альпы же! Альпы, чёрт подери! А я полулежу в покойном кресле. Попиваю ароматнейший кофе. Запиваю его восхитительным французским вином, маленькие бутылочки с которым вам сразу же и открывают, чтобы не… накапливали для раздачи близким, а выпивали тут же, в полёте…

И… — никогда не ставивший денег впереди, какого бы то ни было паровоза, — я ловлю себя на том, что сквозь всю эту кофейно–винную нирвану думаю лишь о том, где их добыть для

всё расширяющейся деятельности маминого, а ныне моего детища — «Спасения»?!

Не то, чтобы их у меня не было. Были, конечно. Никогда не допускал, чтобы доходило до необходимости вскрывать «Неприкосновенный запас», заложенный Бабушкою, — моей прабабкой, — в 1918 году. Всеми доступными и мне путями я добивался устойчивого состояния «Оперативного фонда», «Фонда стратегических затрат», и, конечно, «Неприкосновенного запаса» — вклада, растущего вот уже восемьдесят лет! Но в связи с событиями в Армении и Югославии уже и «стратегическая» часть нашего бюджета порядком подсократилась. Тем более, что после Спитака нам пришлось пересмотреть составы Медицинского Департамента Организации, и почти вдвое увеличить кадры медиков полевых госпиталей. «Лишние» деньги были бы весьма кстати. Но где их брать?…

Полусон в кресле Боинга на траверсе невидимой за туманами Югославии навевал и другие, более приятные, что ли, виденьица. Так вспомнились, в одночасье, полузабытые грёзы младенчества — какие–то прекрасные, лежащие за далёкими морями волшебные: острова… Скорей всего, вызваны были они памятью о изображенных на открытках чудесных замках, обрамлённых зеленью огромных деревьев и окруженных лазурью тёплых морей… Тогда я уже читал самостоятельно. И потому знал, что один из островков, что разглядывал я в мамином «сербском» альбоме, — и оттуда привезенном, — зовётся «Бриони»… Только много позже понял: не дурак Иосиф Броз Тито, — Югославский сталин или гитлер, — забрав островок Бриони под свою резиденцию. Великолепные ландшафты, ласковое море, живительный климат. И, при случае, можно отсидеться, ощетинясь флотом и армией. Губа у него — не дура!

Я с самого младенчества фантазировал: решетки на окнах в Таганской тюрьме, в Даниловке, «кресты» на каждом шагу в «Спецдетдоме» этому способствовали. Нужно было придумать, как удрать в океан и тихонько прибиться к сказочным островам, про которые читала мне мама «когда–то», когда мне не было ещё пяти лет, и меня ещё не забрали…

Очень хотелось попасть на остров Робинзона Крузо и оказаться там одному, без людей… Тогда мне уже мерещилось, что это — счастье, — жить одному. Взрослому, — мне это казаться перестало: я понял, что одиночество — вовсе не кажущееся счастье, а самое настоящее. Но чтобы так его ощущать, необходимо прожить мою жизнь.

Несомненно, мечты о далёких, — далёких от моей реальной жизни, — островах, волновавшие моё детское воображение

подстёгиваемое несвободой, превратились в любовь к «кусочкам суши, омываемым водою». К Бриони, например, которого я так никогда и не увидел наяву.

Да, фантазировал я с младенчества. И открытки из маминого «сербского» альбома, вскоре исчезнувшего из моей жизни, представлялись живыми. На них кроны огромных деревьев шевелились под «лёгким бризом». Кипень их, будто росою окраплённая, сверкала миллионами солнечных зайчиков, как бывает под «грибным»' дождичком. Изредка, в кадр открыток, попадают домики. Стены их «такие белые, что будто голубые»! А крыты они оранжевой черепицею. Потому /?/ тени под их свесами и карнизами, ультрамариновые, как небо на театральных декорациях заката.

Ещё реже — на открытках люди. И хотя они совсем маленькие, но на фоне яркой зелени и бело–голубых стен — стройные, грациозные, загорелые, красивые и очень, очень счастливые, конечно! Иначе, какими могут быть люди на таких прекрасных островах?!

Много позже я увидел цветные фотографии других островов. А через небольшой промежуток времени стали наезжать с Ниной и детьми на острова настоящие, однако, ни капельки не похожие на открыточные. То были советские «земли, окруженные водой» Белого моря, Ладожского и Онежского озёр. Время, однако, не стояло на месте. И, однажды, всесилием Кирилла Афанасьевича Мерецкова, мы вырвались в Большой Мир и стали бывать на островных архипелагах всех континентов /уплачивая за это заложничеством наших детей/…

И пошли, пошли острова…

Вот тогда и узнали истину: каждый из не наших, чужих «кусочков земли, окруженных водою», это всегда и всенепременно маленький рай, где человек должен, обязан, предназначен жить счастливо и, конечно же, вечно, — так хорошо ему на этих маленьких островах!

За 30 лет, что мы плотно походили по морям и океанам, нам привелось увидеть много таких вот райских «кусочков» земли. И, — точно, — всегда встречали нас по–настоящему счастливые островитяне…

Кроме, конечно, жителей острова Валаам на Ладоге. Или островитян с «клочков» земли на Белом море у Соловков, и на Онеге — за Кижами. Но все они — не в счёт: они принадлежат Великой державе — России… И на них, как на любом русском острове, свалка. На Валааме и на помянутых островах — это выкинутые туда обрубки — без ног и рук — калеки. Самовары. Инвалиды никогда не происходившей «великой отечественной

войны советского народа». Россияне — бойцы и командиры красной армии, отстоявшие, «свободу» и «независимость» Богом и Людьми проклятой страны, — звериносердной родины их. Живые люди, за ненадобностью, — если только на мыло, или на туки для рыб, — за «омерзительностью ихнего виду», как выразилась нянечка, в Валаамовом монастыре, сваленные здесь подыхать… Я видел их, облепленных зелёными навозными мухами, валяющихся в щепном мусоре у «столовки». Их — сказали нам — вынесли погулять. Между «гуляющими» ходят с вёдрами женщины. Черпают деревянными ложками пойло, остро воняющее протухшей рыбой. Отправляют его в нараспах открытые беззубые рты. Лица — в грязной древесной трухе, в которой только что «гуляли». Женщины молча переворачивают людские обрубки на спину. Приподнимают. Заливают «суп». Утирают тряпицами. Рты кричат что–то. Женщины не отвечают. Переходят от обрубка к обрубку. Переворачивают…

… А вокруг — неяркое северное лето. Могучие осокори шепчутся над островом. Морской ветер, напоённый смолистым духом огромных сосен, играет с кустами жимолости. Темно–синие волны бьют весело в граниты высокого берега. И кружево пены взлетает, рассыпаясь ледяным дождём…

Но не до красот лета «гуляющим» под деревьями у обветшалых каменных зданий Валаамского монастыря. Им бы… Но кто знает, что надо им?… И надо ли чего–нибудь — выброшенным на пустынный берег острова–тюрьмы, затерянного в непроглядной дали холодных, полуночных вод… Или только смерти — забытым своим благодарным отечеством?… Невольно переносишься в осень 1977 года. В Вашингтон, — на площадь перед Музеем Авиации и Астронавтики. Вплывает, швартуясь, к дебаркадерам высоких тротуаров, колонна огромных бело–голубых автобусов. Открываются двери–жалюзи. «Механические руки» — одновременно — «выносят» медленно и ставят бережно на плиточную панель маленькие… автомобильчики, или коляски, накрытые стеклянными колпаками. Молодые солдаты в парадной униформе морских пехотинцев и девушки в военной одежде снимают крышки. Надевают шлемофоны. Подключают шнуры прикреплённых у воротничков микрофонов к розеткам на привезенных автобусами экипажиках. И тут только увидели мы, что в них, на ложементах, покоятся… люди, лишенные ног и даже рук, и… даже лиц с глазами!… Страшные Человеческие коконы…

Они одеты в яркие, разнообразных фасонов шорты и футболки…. Они не лежат, замерев — они шевелятся… И говорят что–то, отвечая — мы это слышим — на обращенные к ним слова сопровождающих девушек и солдат…

Солдаты, по пандусам, заводят коляски с «коконами» в здание Музея. А мы с Ниной всё еще не понимаем происходящего. Обращаемся к брату. Он недолго говорит с офицером — тот привёл сюда в Вашингтон караван с к¬конами: — Ничего особенного!/?!/. Госпиталь: привёз своих пациентов в музей. Музей новый, — а они интересуются всеми новшествами!

— Но… Посмотри: среди них — люди вовсе без лиц! Или без глаз! С ними как же? Что им можно показать? Как объяснить?…

— Если человек не видит и даже не слышит, — сестры общаются с ними с помощью приборов. Во всяком случае, — тут вмешивается ещё одна сопровождающая, — во всяком случае, они сами интересуются. Сами они — инициаторы таких вот экскурсий… Мы бываем с ними повсюду, где есть что посмотреть — показать и узнать. Все они любознательны. Некоторые даже учатся. В Университетах, в том числе…

— Но потом? Как же потом, когда… Когда они становятся специалистами?! Ведь им надо будет действовать! Как тогда?

— Просто: всё сделают помощники. Или они будут, — как вы говорите, — действовать посредством приборов…

— Но ведь это сложно, это очень дорого, в конце концов…

— Да. Конечно. Но это же — их конституционное право! Как и право инвалидов войны на осуществление его бесплатно! И никто никогда не может лишить их этих неотъемлемых, да ещё и заслуженных ими прав!… Никто. Никогда.

… Возвратившись в Москву, я написал на себя донос: что видел и слышал в Вашингтоне у Музея Авиации и Астронавтики. И на Валааме. Презирая себя, вписал и свои государственные регалии, — никто донос мой не донести до адресата не посмеет! Вскоре повторил его. Так я отсылал, и отсылал доносы. Год отсылал. Наконец, Евгений Евгеньевич Волков, сосед и приятель, — заместитель начальника: Отдела внешних сношений и строительства за рубежом ГОССТРОЯ СССР, — предупредил дружески: — Ох, дождёсси! Ох, дождёсси!…

Ничего я не дождался — ни реакции, ни санкций… Молчала Держава…

Но я не о ней, уже семидесятилетие агонизирующей «в собственной блевотине". Я даже — не о её несчастных солдатах, давно представших пред Господом, не более её милосердным. Я — об островах, где живут счастливые люди. Их множество, таких «клочков» земли со счастливыми насельниками…

И теперь, полулёжа, в кресле самолёта, я, прикрыв глаза, грежу о них, разбросанных по миру… С Ниной были мы на «шхерных» камнях Швеция и Норвегии. Были на Капри, с его «ненатопленным теплом». Были на островах–призраках в проливе

Бонифачо меж Сардинией ж Корсикой. Отдыхали у родичей Нины в Сант—Питер-Порт'е у Нормандии. Гостили у моих друзей на Шотландских Гебридах. Не раз, и не два, — круизами, по Русской Америке, — добирались до Ситки, — к сестре…

Куда только ни заносила нас с Ниной, — лучше не скажешь: «жажда дальних странствий»! Ведь 24 года — от рождения на нарах телячьего вагона под Красноярском, до нашего: с нею отъезда в Москву в зиму с 1954 на 1955 год — прожила она на глухом прииске в дебрях Тунгусского нагорья. Права не имея — и под угрозою «25–и лет каторжных работ» — зайти охотою на соболя или белку за границу её ссылочного района… Про мою, с самого младенчества, жизнь тоже сказать особо нечего. Хотя остров в ней был — Котельный. Судьба бросила меня на его чёрные скалы, чтобы спасти от смерти. Только для жизни он не годился… И был ещё «остров» на моём тюремно–лагерно–ссылочном пути, — Ишимба. Глухое зимовье в океане тайги. Надо сказать, прекрасный, сказочно прекрасный остров. Остров этот, и жизнь на нём, воспел я, — не в стихах, — в рассказах на страницах журнала «Наука и жизнь» 60–х — 80–х гг. В последнем — «Волчина»' — в № 4 за 1990 год, — о жизни вдвоём с волком моим у речки Ишимбы…

… Трижды — 120–и тонной яхтой — прошли мы сквозь все Карибы. Потому трижды жили у брата на островке Аруба, что близ северного берега Венесуэлы. Он — Нидерландский. Но принадлежит моему кузену. Вот там, на Арубе, мы поняли: все острова и островки, и, особенно, островочки, предмет постоянной заботы об их природе, экологической чистоте, незапятнанности их имени. Предмет любви и поклонения их хозяев, — будь то могущественные государства или частные владельцы. Потому цены островам, практически нет, как произведениям великих мастеров. Хотя, бывает, продают и покупают их за деньги, воистину сумасшедшие!

Недаром, упоминая какого–либо известнейшего деятеля, мировую знаменитость или звезду вовсе вселенского масштаба, говорят о нём, — иногда, конечно, — что он владелец острова! Как королева Елизавета II — владелица Британских островов. Ведь остров в море или на озере — что материк, континент в океане!

… Жизненное пространство. И на Луне места искать не нужно…

И вот, Курилы. Тиссима Реттоо — по–японски. Тысяча двухсот километровая гряда вулканических островов у Курило—Камчатского желоба–разлома. Около сорока действующих кратеров прерывающегося аж 26–ю проливами хребта, местами

достигающего высоты более 2300 метров… Испокон веков освоившие острова японцы превратили их в земные райские кущи. В Эльдорадо. Благо полно вокруг великолепной рыбы, ценного зверя и совершенно бесценных морской живности и донной флоры, — основы японского стола. А юг гряды, это, к тому же, великолепные хвойные леса и источники разногорячих минеральных вод. И климат Южных Курил мягок, целителен.

Но… Война началась. 2–го сентября 1945 года Курилы, в том числе четыре острова на их юге, — Хабомаи, Шикотан, Кунашири и Етторофу, — в результате неспровоцированного нападения СССР на Квантунскую армию Японии, были у неё «договором» о безоговорочной капитуляции отняты…

За полсотни лет советского «освоения» цветущих островов, — вот этих вот самых южных, что у Хоккайдо, с оккупацией которых японцы не смирились, — все они, как и полагается всем иным советским территориям, превратились в… то, во что должны были превратиться — в помойку, в выгребную яму, до отказа заваленную радиоактивными отбросами объектов Минобороны и Военно–морского флота — отработанными энергетическими установками командных комплексов, атомных подлодок, боевых кораблей и ледоколов, бездумно выбрасываемых в овраги и балки, да и в море. Не менее страшное содержимое островных свалок — контейнеры и ёмкости со списанными боевыми отравляющими веществами производства Второй мировой войны. Десятки тысяч тонн сего смертоносного зелья выброшено было в океанический шельф — в бортовую зону Курило—Камчатского желоба, с тем, чтобы скрыть это преступление в 9–и километровых его глубинах. И если добавить сюда начисто разбитые дороги, проложенные когда–то японцами, и полуразрушенные или вовсе рухнувшие постройки, ни разу не ремонтируемые с «японских времён», — увидеть хоть раз плоды русского «хозяйничания» — вырисуется общая картина эколого–экономического краха островов.

Отсюда смертность, за 10 лет превысившая рождаемость в 4 раза. Отсюда массовое бегство на материк в 80–х годах, закрытие перерабатывающих предприятий, безработица и повальная нищета. Ловушка. Уехать невозможно — ни: денег на билеты, ни транспорта. Да и податься некуда: никого никто нигде не ждёт. Рыбы наловить, чтобы с голоду не сдохнуть, невозможно: забыли, когда последний раз завезли горючку. И вымирает народ, брошенный своим–не своим государством на произвол судьбы. Сходит с ума, лишенный права добыть пищу, — которой переполнено море вокруг, — пользоваться газом и электричеством, — когда из недр бьют гейзеры кипящей воды и

прёт природный газ. Руки на себя накладывает, убеждаясь в полнейшей безысходности. В умопомрачении, — забыв, на каком свете живёт и кто им правит, — просит слёзно соседей–японцев забрать его под свою власть — с островами ли, или без них, — спасти. Спасают: везут еду, медикаменты. Москва этому не противится. Ей нынче не до «каких–то» островитян, как чуть позже, не до 26–и миллионов русских, из–за развала советской коммуналки оказавшихся в Катакомбах межнациональных разборок.

Выходит, нет силы в России, которая сумела бы решить все проблемы южных Курил, или, хотя бы, урезонить власть и сговориться с японцами о судьбе русских людей без риска навлечь на себя праведный гнев патриотов?

Есть, конечно.

В России, как в Греции, всё есть.

Только силы те не тем заняты. И вместо того, чтобы заняться сортирами, заняты отысканиями национальных идей. Потому, вместо того, чтобы находить пути спасения людей от чиновничьего произвола и азиатского зверства, загоняют народ в очередную смуту…

Все абсолютно, кроме дебилов и патриотов «по–русски»', убеждены: Сибири не удержать! Уже сегодня, тихой сапой, наши соседи начали систематическую оккупацию Дальнего Востока. Напор этот, увы, неостановим — с миллиардной державой, с народом, вооруженным термоядом, не повоюешь. Ещё когда дружба народов набирала силу, и Россия на смерть стояла на исчезнувшем чуть позже Даманском острове на Амуре, шутка–страшилка ходила: а что будет, если китайцы начнут сдаваться в плен? Скажем, по сто тысяч в день, — с детьми, со стариками… Стрелять в них?

«Шутка» до верхов дошла кошмаром. Сколько миллиардов вколочено было в строительство «электрических заграждений», в минирование десятков тысяч километров приграничных полос. В том числе, минирование ядерное. Ну и что? А то, что они уже заполняют вакуум российских территорий. Явочным порядком. Свято место пусто не бывает. Накрыть их тем же ракетно–ядерным: залпом? Ха! Тогда нас–то — точно — не останется. Сколько останется их — то уже не наши будут проблемы…

Сегодня муссируется предложение: — не продать ли нам, — если успеем, конечно /уж больно системно и быстро действуют наши соседи/, — Сибирь от Енисея аж до Тихого океана американцам? Говорят, за хорошую цену — 350 миллиардов зелёным. Ведь к тому идёт, что бесплатно отдадим…;

И все абсолютно меры, которые измышлены будут, чтобы того

не произошло, они лишь ускорят процесс потерь. Так, может, острова злосчастные, на которых народ русский вымирает, спасём, отдав их хоть бы и в аренду лет на 99 их же хозяевам? Спасти–то есть кому, если подумать.

А я давно думаю. Полагаю — придумал.

… О Курилах я никогда, не забывал. И думал о судьбе их насельников с того часа, когда, — после множества, командировок на острова, — увидел однажды, до чего власть довела этих доверившихся ей русских людей;. Уже тогда пришла мне в голову мысль об обращении к остаткам чудом уцелевшего российского дворянства… О дворянстве японском? Такой дикости мысль посетить меня не могла. Я — и Япония! Тогда я не знал, что одно лишь имя моей матери раскрыло бы мне двери в удивительную страну! Но фантазировать я себе не запрещал.

… Понимаете, — обращался я к гипотетическому японскому собеседнику, который несомненно существует, и которого я, верно, встречу, — идея механизма решения проблемы Южных Курил проста: — непосредственная договорённость на уровне русской и японской элит — их дворянств. С вами — просто: вы существуете, вы совершенствуетесь более тысячи лет. Не то у нас. У нас, в России дворянство уничтожено было переворотом 1917года. И вот, чудом выжившие его потомки, на волне «перестройки» и последующих событий, вдруг почувствовали сперва слабость уничтожившего их родителей режима, а потом и утерю им инициативы. И решили восстановить институт национальной аристократии заново. Сорганизовались. Собрались. Произвели нечто подобное перекличке. Подсчитали потери…

Словом, произошло, пусть ещё чисто формальное, возрождение — понарошке — дворянского сословия, хотя бы, под крылом спецслужб. Избран, — во всяком случае, в Москве — в сердце России, — Предводитель. Им стал потомок одного из древнейших боярских родов Андрей Кириллович Голицын.

Сын моего лагерного, а потом и на воле, друга Кирилла Николаевича, с которым прожил целую жизнь… Между прочим, этот беспрестанно арестовываемый большевиками русский князь, путями мне неведомыми, узнал историю моей мамы и проникся к ней сыновьим уважением. И, когда к тому была возможность, переписывался с нею, пребывавшей с моим отцом в дальнем далеке. Нам, зэкам–каторжникам, полагалось отсылать только два письма в год, и только самым близким родственникам. Как ухитрялся Кирилл Николаевич разрешать столь сложную задачу — писать ещё и маме моей — знаю только я один. И Андрею и супруге его Ирине Борисовне, актрисе и художнику одного из московских театров, я тоже не раскрылся. Более того, по смерти

Кирилла Николаевича и отпевании его у Николы Обыденного, о себе им не напоминал, помня предупреждение Леночки Адлерберг—Вяловой…

Евреев они, естественно, ненавидели. Как, впрочем, естественно же, евреи ненавидели их — столбовое дворянство. Талантливый, удачливый, знаменитый художник, бессменный и непременный Секретарь Отделения графики Союза художников СССР, а теперь России, — человек, вроде, не лишенный букета воображений, — Андрей Кириллович воспринимал советское еврейство только насильниками, захватившими его Россию. Бесконечные годы преследований и унижений, выпавших на долю среднего сына постоянно и мстительно унижаемых и преследуемых родителей не могли не выковать из интеллигентного мальчишки ненавистника своих мучителей. Мести он не жаждал — он был интеллигент. Не тот, в русской расписухе, что, видете ли, не подавал руки антисемиту, не предполагая, что у него впереди рандеву с господами–товарищами Зиновьевым, Троцким, Фриновским, и, в финале, с Мосеем Фельдманом в Варсонофьевском переулке.

И Андрей Голицын, сын Кирилла Голицына, внук Николая Голицына, полной мерой испивши из комиссаро–большевистского источника, созрел. Дошедшие до меня его раздумья «о мерах профилактики» относительно евреев были разительно схожими с тайными мечтаниями западно- и центрально–европейцев 30–х годов: «Истребить их в своём доме?! Фу! Гадость какая! Проще выкинуть… куда–нибудь… подальше. И пусть та же немчура ими и занимается…»… Проще всего, приняв позу, облаять его… ясно кем.

Между тем, еврейских своих коллег, которых в его Отделении Союза художников было, почитай, добрых две трети от состава, он не только не третировал, но всё что в силах его было делал для них, а со многими дружил… Ситуация, к слову, банальнейшая, в зубах навязшая. Было и такое: своего неофашиствующего коллегу; круто осадил, когда тот привел на одно из внутренних торжеств толпу подопечных, вооруженных нацистскими аксессуарами… Однако, тёплого рукопожатия не лишил. Тому, ясно, были причины. Когда–то, будучи ещё совсем юным, Андрей Голицын потерял покой, узнавая интригующие подробности но, главное, результаты «Большого Террора» 1934–1941 годов. Он догадался: то было началом очистительной акции против его врага /начатой десятилетием прежде, чем на то же самое решился Гитлер/. Акции тонкой и грамотной, в чём–то даже изящной, блестяще, — не без юмора, — исполненной её талантливым режиссёром, поручившим истребление евреев–

большевиков евреям–чекистам. Да и сам я, с судьбою моей и моих родных, — я тоже был радостно потрясён, узнав, что творится под уютным домиком Военной коллегии Верховного Суда СССР у стыка Никольской улицы и Театрального проезда Лубянской площади, а потом и в бункерах дома 7/9 по Варсонофьевскому переулку. И кто — «именинники».

Совсем другое дело — массовые, — днём и ночью, — восемнадцати–месячные расстрелы евреев в БЕЗЫМЯНЛАГе в 1941–1942 годах. Они были, возможно, завершающим актом согласованной с нацистами ещё осенью 1939 года акции но истреблению всё того же Европейского еврейства.

И уж тут Закон Возмездия был не при чём: тут уже не палачей казнили — истреблялось классическое местечковое еврейство Балтии, Польши, Молдавии, Украины и Белоруссии, бежавшее от немца и попавшее прямиком в чистые руки чекистов–большевиков…

Я не знаю, как российский дворянин принял весть о казнях на Безымянке. Проводились они по команде Сталина. Но ведь и без того, за уничтожение им «старо–большевистского» еврейства в «тридцатые», народ России, измордованный им, начал что–то ему прощать. Простилось, конечно же, немало и за Безымянку. А Безымянок по стране — не счесть. И это было дворянину по сердцу, хотя конечно же Сталина он ненавидел люто. И нежданную–негаданную вакханалию казней, начавшихся летом 1953 года, встретил он с пониманием. В те дни, после убийства Берии 26 июня, взявшая власть армия, под ликующее молчание народа, начала небывалую даже в «добрые» сталинские времена расправу над аппаратами НКВД–НКГБ–МВД-МГБ. Как когда–то в Петрово время в подмосковное сельцо Преображенское свозили на правеж мятежных стрельцов, так тотчас же после убийства Лаврентия Берии, на набережную Москва–реки, в карре Штаба Московского Военного округа, сгоняли этапами полчища начальства струсивших и сдавшихся «органов». Скоренько «допрашивали». Били смертным боем. «Судили» по–быстрому. И убивали в подвалах.

В экзекуциях участвовали и сливки военной верхушки. Они не могли отказать себе в удовольствии, годами предвкушаемом, — предвкушаемом до подробностей, — пройтись сапогами «по зубах» бывших своих персональных следователей, подбиравшихся с учётом характера подследственных. Посокрушать рёбра оплошавшим провокаторам и соглядатаям, имена которых извлечены были из тех же следственных дел. И, напоследок, «наигравшись» вдосталь, не торопясь, со вкусом, «порасчленить» лопатками их черепа.

… Пауза–отдых меж очередных упражнений. Не очень, скажем так, приличествующих маршальским регалиям шалунов. Жуков с Москаленкою «чаёвничают» в холодке под аркадами. Наблюдают сонно за профессиональными действиями комендантских команд, оттаскивающих гроздями приговорённых в подвальные каморы. Вполуха прислушиваются к воплям…

— Надо же.! — вдруг вскидывается Георгий Константинович. — Надо же! Сплошь Абрамы!…/ Спохватился! Новость изрёк неожиданную: «Люди! Каин Авеля убил!». Ведь то же, только десятью годами прежде, даже я, зэк с Котельного, Михоэлсу выкрикнул, главному «Абраму»!/.

— Так ведь, товарищ маршал советского союзу, чего особенного–то? Их лавочка, энкеведэ же ж… — откликнулся, проснувшись, Кирилл Семёныч.

— А вот мы лавку эту жидовскую, и прочие абрамския гастрономы, прикроем! Раз — навсегда!

Рассказывают: народ откровенно ликовал, узнав о программной реплике обожествляемого им военачальника. И тотчас разнёс её по столице и провинциям — волны её, как цунами, прошли по всем городам и весям безразмерной державы. И обратным приливом донесли до Москвы полное одобрение россиян!

Гипотетический «мой» дворянин если и не ликовал, услышав такое, то потому, что к этому времени подался, — при наличии талантов или, хотя бы, наглости, — в шестидесятники. Но познав особенности хрущёвской «оттепельной» свободы и демократии, только поздними вечерами за кухонным столом всё той же «хрущёбки» позволял себе порассуждать о наболевшем: да сколь же времени надо ему ожидать покамест крысы сами, наконец, побегут? Чтобы ненужным оказалося отлавливать их, собирать, сгонят в эшелоны…

Фантазирую в таком вот аспекте потому, что нужен–то мне для операции «Курилы» совсем не гипотетический сын боярский. Но умный, ответственный, грамотный и, — без дураков, комплексов и накруток, — мой недоброжелатель. Если хотите — юдофоб, лиха хвативший от нашего племени.

Ибо чем откровеннее русский дворянин дистанцируется от еврейства, — безусловно по–умному и аргументировано, — тем сильнее вера в него русского человека, полагающего, — да чего там, уверенного абсолютно, — что он — вот этот вот конкретно — Россию жидам не продаст, ничего угодного жидам не сделает, никаким жидам не поддастся.

Все от нас зависящее мы сделали, чтобы именно таким каким–то образом думать мог россиянин.

И даже в случае с Андреем Голицыным так именно будет он думать. Никакая любовь ко мне его покойного отца здесь не поможет. Как не поможет и то, что дети мои — от одной из самых уважаемых по Российской Геральдике, а по службе России наследницы Высшего эшелона служилой аристократии, — графини Нины Адлерберг.

Потому без малого за год до вот этого вот полёта над Адриатикой, только сообразив ещё, что Япония открылась мне, и что ожегший меня когда–то огонь беды курильчан можно будет погасить, я принял собственные меры этого «пожаротушения». Никому не раскрывая своих планов, я просил Масаро послать на Курилы несколько групп кинодокументалистов…

… В туманах таких–то фантазий незаметно пролетел над Францией…

Не дай Бог чтобы читающий эти строки решил что я очень жалел бедных азиатов… без Курил, скажем. Или, хотя бы, только без Южных. Никаких предубеждений относительно японцев, тем более, в массе, быть у меня не могло: убийц ненавидел с младенчества — книжных ли, или настоящих. А «мои» отныне японские граждане намолотили в Китае горы трупов, — что–то около 18–и миллионов! Ничем не лучше вели себя они и в других странах, в которые заскочили попутно… Шустрый народ! Если уж звери — они звери и есть. Вроде сербов. У этих тоже рука не дрогнет против беззащитных! Мама за две Балканские войны изучила их, как тараканов.

Но мне повезло: в Комсомольске–на–Амуре встретился с настоящими интеллигентами–японцами! Не все, не все ими были из заинтересовавших меня. Но… оказался между ними Ясуо Ишии. С Хоккайдо. Мыслитель, художник, поэт и… мастер чудесной бумаги «Вася». Что это был за человек — не рассказать! Или вот, — то уже в Братске, — судьба подарила мне товарища — Ясунори Матсуо, — военного инженера и садовода–уникума. Человека, которого полюбил я навсегда…

Были среди моих японских однонарников по Братску и Комсомольску люди интереснейшие, своеобразные. Они великолепно осознавали родственную общность азиатских режимов Сталина и Хирохито. Только боюсь, это их «озарение» было результатом краха японской армии, сложившей оружие по приказу императора. И только лишь по этой вот причине не позволявшей им развернуться по–самурайски и драться до конца, как их товарищам, воевавшим в джунглях Борнео и Суматры ещё сорок лет после окончания «конфликта» и капитуляции…

К ним, мне казалось, должен был относиться и товарищ, мой по Мостоколонне Братска ОЗЕРЛАГа Тацуро Катакура, славист,

офицер разведки, услужливый и, в общем, приятный малый. Но «пускатель пыли»: нанялся теперь моим биографом–эссеистом японских и разных других стран газет. Целыми сутками мелькал перед объективами токийских папарацци. И — направо и налево — раздавал интервью прессе и телевидению с осанной «его нашедшемуся русскому другу». Мне уже настучали: встречать меня будет он…

Да, японцев, — в смысле отобрания у них их Курил, — я ничуть не жалел. Жалел россиян–курильцев, бедствующих на своих воистину засранных государством островах. Считал оптимальным вариантом их спасения передачу хотя бы Южных Курил под любую юрисдикцию Японии, — пусть условную, пусть временную, — какую угодно. В конце концов, «государственное образование», продолжающее именовать, — да что там именовать, — подавать себя миру страною, и накопившее более 40–а/!/ тысяч зарядов с ракетами для их «доставки», не должно бояться за свою или присвоенную ею собственность, — за паршивые, загаженные и, конечно, абсолютно никчемные ей Южные Курилы. Оно может, оно должно, наконец, отдать их / повторяю, на каких угодно условиях!/ хозяевам! Дать шанс островитянам — тем более, русским — устроить, наконец, свою единственную жизнь! Русские — ведь они тоже люди…

Александр Галич ненавидел авантюристов, «знающих, как надо!». И был прав. Но что делать, если… «как эти острова передать японцам» знаю я, только я, один я?! Ну, знаю, и всё. Мне бы прилететь в Японию. Именно там — мой ключ к решению проблемы! Вполне возможно, что ошибаюсь в чём–то. Вполне возможно. Но попробую… Только бы прилететь!

… Париж встретил дождём и… транзиткой: «Едиот ахронот», да и сам я, даже не подумали о транзитной визе! Но в Париже я, слава Богу, побывал. И не раз. Ничуточки удовольствия от полусотой пробежки по нему за оставшиеся до вылета в Нарита часы не получу. Потому, попивая Арманьяк, кайфонул в стеклянном скворечнике. Перелистал кучу свежих столичных журналов. И даже познакомился с французским вариантом уборки аэропорта — под дружный храп спящих на диванах чернокожих чистильщиков и усыпляющее гудение вхолостую надрывающихся пылесосов. Глубокий сон шестерых бездельников, начавшись до моего водворения в дортуар–транзитку, продолжался еще четыре часа. Его не нарушил приход за мною администраторши. Она глазом не моргнула при виде раскинувшихся в свободных позах и. величественно храпящих «работничков», да и носом не повела в сторону уже пованивающих живописных куч мусора, разбросанных по

«стекляшке». Что же, её реакция ничем не отличалась от политики её правительства: не раздражать оккупировавших Францию её новых афро–азиатских поданных!

… Такой же, что перенёс меня из Тель—Авива в Париж, — Боинг 747 круто, поднимается с полосы. Пока самолёт набирает высоту, сбрасываю туфли, снимаю куртку. Надеваю белые шерстяные носки, набрасываю на плечи мягонький махеровый плед, — устраиваюсь поудобнее, навзничь откинув спинку кресла. Впереди 20 часов полёта! Совсем не плохо поспать хоть и все эти часы: когда прилетим, в Норита будет утро нового, длинного, и очень не простого дня…

Соседка–японочка вздевает глухие наушники, накрывает глаза чёрной повязкой — тоже готовится спать… Повернувшись, роняет мне на колени листок с маршрутом полёта…

«… Брюссель — Амстердам — Копенгаген — Стокгольм — Турку…», что там ещё? А — Санкт Петербург… Беру в руки «маршрут»… Та–ак! Будем, значит, пролетать в десяти километрах от — пусть над — прародиной Ниночкиных Адлербергов, над Уппсалой, — она рядом со Стокгольмом. А прежде — над городами, где столетиями жили предки папы. Над Брюсселем — он там учился… Над финнским Турку, рядом с которым — родина Маннергеймов, где у Густава и у тётки Катерины гостевали мама с Бабушкою… И всё — в каких–нибудь десяти километрах!…

… Санкт Петербург… Город, где сложилась необыкновенная, феерическая судьба пращуров Нины — Владимира Фёдоровича Адлерберга, его матери и сестры. Где вслед за отцом, Александр Владимирович заступил пост Министра Двора… Не–ет! Это не «маршрут полёта», это сама Российская История предоставляет мне возможность возвратиться к её раритетам и даже, возможно, попрощаться с ними… Грустно. И невообразимо тошно: далее–то, — за Череповцом — родиной «Сашеньки», Александра Кутепова, друга, и «свидетеля по жениху» погибшего в Порт—Артуре первого мужа мамы Мишеля Вильнёв, — дальше — огромная, в полмира, в миллионы квадратных километров, российская каторга! Там Вятка, Серов, Сургут, Северо—Енисейск, — горные леса Страны моей ссылки, родины и ссыльной жизни Ниночки… Дальше — Усть—Кут, — начало Земли страшных лагерных лет с трассами Тайшета и Братска, Байкало—Амурской и Ленской магистралей… А там — Забайкалье, — справляющие полтысячелетия Акатуйские и Шилкинские каторжные рудники… И дальше, и дальше, — за чужой Манчжурией, — снова огромные лагеря ДАЛЬЛАГа…

… Не до сна было: внизу, в каких–то десяти километрах,

проплывала во тьме скоротечной ночи вся моя молодость, жизнь моя до встречи с Ниной… И это вовсе мне не казалось: я видел всё когда–то случившееся со мною, я слышал всё этой удивительной ночью над Сибирью… И будто вновь проживал ушедшие в небытие далёкие годы…

Незаметно и неожиданно, — как озарение, — выплеснулся с Востока рассвет… И пришло утро нового дня. Самолёт перевалил Сихотэ—Алинь. Завис ненадолго над Японским морем… Впереди, — и тотчас под нами, — остров Хонсю… Япония!…

Снижаемся в отблесках тысяч зеркал рисовых чеков… И через 20 часов полёта садимся в аэропорту Норита, что в восьмидесяти километрах восточнее Токио — у самого основания полуострова Чиба…

Тишина. Молчат двигатели. Только шкварчит что–то в их остывающих утробах… Мягкое, с еле заметным толчком, прикосновение полости «хобота». Отворяется люк. И тотчас — в его проёме — появляется улыбающееся лицо… Конечно же — это

Масаро! Масаро, — кому же ещё железнодисциплинная страна позволит ворваться в самолёт до пограничного контроля?! Ему!…

Он взволнован. Для него я живое воплощение покойного брата Тому. Обнимаемся. Кланяемся церемонно друг другу. Глаза его заполнены слезами. Вольные Японцы, оказывается, тоже не железные. Пассажиры молча смотрят на нас. Они не понимают, что происходит, но мы загораживаем выход…

Масаро спохватывается. Ведет меня по кажущемуся бесконечным «хоботу». Нас встречают. Приглашают куда–то… Кабинет. Стол накрыт. Будто во сне поднимаем уже заполненные фужеры… Чёрный, слегка отдающий имбирём, смолянистотягучий напиток… — Ему больше четырёхсот лет, — говорит Масару. — Он — с Хираро, — с острова Имйяко — он на Юге от Окинавы. С незапамятных времён там выдерживают «императорский» виноград «Оши–чи»… Вкусный? — О-очень! Чудесное вино!… — Не вино, — виноград. С каждой ягоды снимают кожицу. Опускают её в каменные сосуды с чуть подсоленной водой из островных ключей. А потом закладывают в наглухо затыкаемые глиняные кувшины… Нигде в мире такой воды нет…

— Пожалуйста, — напоминает секретарь–переводчик, — господин Додин–сан, вас ожидают… Пожалуйста… Он проводит меня к входу в зал пограничного контроля. — Не волнуйтесь! Господин Масару Ибуки будет встречать вас снова с вашими друзьями…

Благополучно миновав паспортный контроль я попал в

таможню. Чиновник протянул мне анкетку, — маленькую, в восьмушку листа, — о четырёх вопросах: как зовусь, откуда приехал, когда и зачем? Всё ясно, только что значит «зачем»? Поглупеть, оказалось, можно мгновенно. «Зачем»? Пишу: для встречи с друзьями. Ясно же! Ан нет: мой сосед по полёту, старый комивояжер, возмущён: — Проше пана, официальный вопрос требует официального ответа! Японцы любят точность и краткость. Видите, здесь ваш ответ не поместится! Вы говорили, что хотите опубликовать рукопись. Так и пишите… Нет, — вы же ради дела прилетели, так? Вот и пишите… Ну, «не ради дела», а для бизнеса… Вот вы и ответьте на прямой вопрос анкеты прямо: «для бизнеса». — Я, болван, «так прямо» и написал…

Таможенник взглянул на анкетку. Потом — на меня. Через минуту — не больше — я уже сидел перед полицейским офицером в аэропортовском отделении полиции. Передо мною на приставном столике стояла чашечка кофе и тартинка на блюдечке. Но воспользоваться угощением я не торопился — на запястьях у меня плотно «сидели» никелированные наручники…

Минут через двадцать, когда нашли и привели переводчика, выяснилось, во–первых, что я — «лицо, пытавшееся проникнуть на территорию Японии с целью незаконного бизнеса!…» Так вот… Оказалось, во–вторых, что с таким ответом на вопрос анкетки, не имея официального разрешения Министерства труда, — на официальный, за три месяца до прибытия, запрос, — я немедленно должен быть депортирован, плюс… все расходы, связанные с этим мероприятием полицейских и пограничных властей.

Серьёзная страна. Ничего не скажешь…

Переводчик–полицейский оказался так же человеком серьёзным — выслушать меня не пожелал. Тут я вспомнил, что в папочке, которая была при мне, среди прочих, недоступных для японского глаза, бумаг, должны были быть газеты с оповещением о моём скором прибытии сюда. Японские, разумеется. Я попросил переводчика вынуть их и просмотреть. Но и этой любезности я от него не дождался. Между тем, меня ожидали. А после выхода из таможенного зала последних пассажиров моего рейса — потеряли. И что же подумают обо мне мои друзья? Масару, наконец?… Бред какой–то!

А пока началась процедура «оформления ареста». Когда же я заявил «о своём крайнем возмущении действиями полиции», меня предупредили: будете мешать следствию/!/ - уже следствию — вас «препроводят» в тюрьму… Словом, сорок пять минут прошло; оптимизм мой по–прежнему был на высоте, но за меня, кроме мудака–переводчика, взялись уже трое «дознавателей». Понимаю,

что в конце концов, всё выяснится: должны же они, наконец, обыскать и меня и мои вещи?! Тогда и увидали бы и официальные письма, и газеты со статьями обо мне и моими фотографиями… Однако, ошмонать меня они могут позже, в тюрьме. Надо же было так опростоволоситься с этим «бизнесом»!

В это время, динамик над дверью, пискнув, сексуальным напевцем промяукал несколько фраз. И я услышал в интерпретации дикторши звук, похожий на «… Бэнч–жи–мина Дои–зин…»! Нутром почувствовав, что это обо мне, я вскочил. Моментально, под белы руки, меня жестко вернули на место, опрокинув чашечку с кофе и добив её об пол…

К счастью! К счастью!

Вдруг неожиданно всё переменилось: полицейские вскочили, оправили мундиры, вытянулись… Они, наверно бы, улыбнулись сразу и занялись ритуальными поклонами… Но… В распахнутую дверь ввалился огромный, с генеральскими погонами на сером френче, полицейский чин. И «на его плечах» в помещение ворвалась гомонящая стая телевизионщиков с нацеленными на всех сразу чёрными коконами микрофонов… Вспыхнул ослепительно рыжий свет… В меня уставились глазища объективов… Тут вошли новые люди… И среди них, рядом с Масаро, я увидал своих!…

Встреча с первых же мгновений была бурной — где она, хвалёная эта японская сдержанность?! Вообще, о какой сдержанности речь, если только что истязавшие меня полицейские пожелали… сфотографироваться со мною «на память!». — Но я же вас и так никогда теперь не забуду! — пообещал я. Когда слова им перевели я потянулся за бокалом к подносу — его занесли моментально, — ждали, что понадобится!… В фокусе обжаривающих светильников нас снимали десятки камер!… И только когда у меня ничего не получилось с бокалом, я спохватился: «браслетики» — то — они вот они!… Сняли их только после того, как мы — полицейские и я — вновь пообснимывались ревущими от удовольствия репортёрами…

… Огромная площадь перед зданием авиакомпаний. Толпа встречающих. И плотный тройной кордон полиции перед нею. Распоряжается тот самый великан, что первым залетел в мою «тюрьму». Смотрю на него со спины. Широченные плечи. Тонкая талия. Из–под фуражки — седой ёжик топорщащихся волос. И лицо — теперь в профиль, — уж очень оно знакомо!…

Неожиданно старик оборачивается ко мне. Разгребая полицейских, подходит. Останавливается передо мною. Смотрит из–под козырька пристально и неулыбчиво. Мгновение, — и я

сижу на его плече! Под ликующий вздох и вопль толпы он несёт меня в её центр. Там невысокая трибунка. Ещё не опустив меня, он, вдруг, говорит мне на добротном «русском» — как говорили японцы, многие годы прожившие на Курилах или на Сахалине: — Не узнал? А, — Додин–сан? Не узнал… Значит я уже совсем старый…

И тут я сообразил: да ведь это же он, он — мой кровник, братчанин, — Томи Имаи! «Великан Имаи–сан»!… В Братске, на Мостоколонне, когда не справлялись они с нормой, нас, кессонщиков, тоже выгоняли на зачистку старых рельсов… Тогда мы работали с ним в паре: я держал на проволочной ручке зубило, а Томи ударами двадцати килограммового молота, бил по нему, срубая накатанную колёсами заусеницу… Бил с остервенением невольника, разбивающего оковы. И добился до последней стадии дистрофии. До не прекращавшегося сутками желудочного кровотечения. И до больнички, куда мы снесли его умирать. Месяц, — через сутки — ему переливали мою, не очень, правда, обильную кровь. Вечерами, после съёма, я приходил к нему и «подкармливал» его своей пайкой мяса или рыбы. Мы получали её на обед, прямо в кессоне, чтобы не свалиться там под воздушным прессом от… бессилия. Но ему, крупному, дошедшему зэку, всё это было нужнее…

И он поправился. Выздоровел. Выписали его на работу в самый день моего этапа в Тайшет, — и, далее, в Красноярский край — в ссылку. С того времени ничего о нём не слышал. И товарищи, что писали мне после 30–го ноября прошлого года, ничего про него не знали…

И вот, он несёт меня к ним! …

Конечно, наш пострел везде поспел: Тацуро Катакура и тут впереди!

Когда Томи опустил меня к трибунке, «пострел» говорил что–то, но не толпе, а микрофону и тысячеголовому Чудищу — наставленным нам в лица телекамерам, и чёрным «шомполам» на длинных штоках…

Говорил он обо мне. Переводил мне его слова переводчик Масару. После Тацуро начался каскад коротких, но эмоциональных выступлений. Никто их мне не растолковал. Томи и Тацуро вошли в моё состояние и успокоили: — Все они были тогда в Братске и, — точно, — знали тебя! К микрофону прорвался следующий сладкоглас. Им оказался Садао Накахара — тоже мой кровник. Был он порядочнейшим и очень тёплым товарищем, хотя близкими друзьями мы не были. Запомнился он рассказами о тонкостях национальных японских традиций. Но теперь, его… понесло: «К нам, — говорил он, — прилетел ну

совершенно святой человек! Ангел! Он отдавал себя людям без остатка! Он, например, больше года — каждый Божий день — дарил мне… половину своей хлебной нормы! Я тогда от голода терял сознание…» Это было неправдой! Не отдавал я никому столько хлеба! Меня бы тогда самого давно не было бы в живых. Четверть пайки, — бывало, — отдавал. Но никогда — больше трёх недель. Этого, между прочим, было достаточно, чтобы поддержать товарища. Не дать ему «дойти». Не позволить превратиться в «фитиля»… Фитиль… Это конец…

Когда Садао отговорился, и место его у микрофона занял ещё один братчанин — Мотохито Тсуда, я высказал Накахаре недовольство его враньём, и попытался сделать замечание устроителям неприятного мне конкурса славословия. Но взвился сходу Нарийши Фукумару — тоже кровник, и тоже спасённый мною моряк — в молодости он преподавал на кафедре навигации Военно—Морского колледжа в Токушима. Он крикнул: Это не справедливо: «В толпе!, — так ты всех нас назвал, — много тех, кого ты выдернул с «того света»! Они отлично понимали, во что обходился тебе твой самоубойный альтруизм. И всю их жизнь после лагерей вспоминали и оценивали твои поступки относительно чужих тебе пленных японцев. Так цени это и ты, правдолюбец!…».

— Допустим, — ценю… Но мне очень стыдно! Такое множество встречающих… Столько людей! Видел подобное только в хронике: показывали встречу экипажа советского самолёта в Ванкувере; он прилетел из Москвы, преодолев огромные расстояния и даже Северный полюс!… Там всё было понятно — герои!… А я?…

— Что значит: «А я?»?! — Вмешался помалкивавший до поры Масаро. — У нас, мой друг, не так много доброжелателей, которые в трагические для народа времена бескорыстно помогали бы нам… Почему–то, лишь ты, из тысяч, окружавших, моего брата, протянул ему хлеб и руку… Об этом нужно знать всем нам! Не тебе, — им, которые пришли тебя встретить… Вообще, дурацкий какой–то разговор, и тема его дурацкая! А ты, — он хотел, видимо, ещё что–то сказать — злое, но удержался, — а ты, мой дорогой, не капризничай! Толпа не нравится? Шум раздражает? А ты не подумал, что все они, — которые пришли сюда повидать тебя, или хоть увидеть, — они устали тоже. Ты спал — или отдыхал просто — в уютном кресле, — пусть даже все тридцать часов. А многие из них добирались сюда, со своих островов и островков, по нескольку суток или даже недель — лодками, катерами, паромами. А сейчас — осень, — штормы, ливни, болтанка! А они все — старики! Больные, немощные, да

ещё и раненые, и не по разу… Успокойся, ради Бога!

… И не сравнивай нас с ликовавшей канадской публикой, а себя — с лётчиками, добравшимися до Ванкувера, «покорив» полюс. Они его «покорили» в построенном для этого самолёте, тысячу раз продутом в Трубе, облётанном лучшими испытателями и напичканном американской навигационной техникой и едой, о которой ты представления не имеешь! Они «покорили»!

Ты, а не они, покорил полюс, даже не добравшись до него: что нужно было тебе вынести, чтобы выжить, вправду покорив остров в Арктике, где в годы своей молодости ты существовал на баланде из гнилого мусора и «жил» по десять месяцев в году в могиле штольни? Что?!… И потом — с чем прилетели они на «крыльях мира» к. множеству встречавших их американцев?… Ты привёз память о человеческой доброте и истинной дружбе. А те? Неужели, Ванкуверская визжавшая от восторга толпа не поняла: завершив испытательный полёт, новейший дальний бомбардировщик АНТ-25 «накрыл заданную цель!». Всё!

… «Заданная цель!»…

…Там, в Ванкувере, наши мальчики….

Они родились на забытом людьми и Богом крохотном прииске в Удерее, давно проглоченном тайгой. Родителей их — Алю и Виктора — убили ловцы, искавшие бежавших зэков. Когда, им исполнилось по 6 лет, в январе 1955 года, Нина привезла разыскиваемых милицией детей к нам в Москву. Сначала мальчики жили на даче Тёти Кати Гельцер. А когда в августе 1962 мы встретили у платформы «Окружная» подругу Нины по Сибири Машу Мельникову, они перебрались в просторный её дом с садом в Хлебниково.

Через три года наши мальчики переехали в кампус студенческого общежития МГУ, куда приняты были на биологический факультет. Тогда же из городского туристического клуба они: перевелись в спортклуб «Арктический», к Дмитрию Шпаро. И там, после летних пеших и зимних лыжных маршрутов по Северу России, они начали ходить по приокеаническому Заполярью.

По окончании Университета они были распределены во ВНИИ зерна. В том же году, 25 декабря, они вылетели в посёлок Певек, что в Чаунской губе Чукотки, чтобы оттуда полярной ночью пройти тысячекилометровым 25–и суточным маршрутом — на лыжах, с нартами — на Запад, до посёлка Чокурдах в устьи Индигирки. До того, в 1968 году, они прошли на лыжах в январе–феврале из Дудинки в Салехард, — это! около 1200 километров; в 1969 — от Усть—Оленёка до Дудинки, — около 1200 километров;

и в 1970–71 — от Чёкурдаха до Усть—Оленёка, — примерно, 1300 километров.

И вот 25 декабря 1972 наши мальчики, обогнув с Запада остров Айон в Чаунской губе, ушли по утверждённому маршруту. И… пропали без вести. Поиски кончились ничем…

В действительности, от Айон'а они пошли на Восток. Севернее обошли остров Врангеля. И на 34–е сутки по выходе из Певека вышли к посёлку Барроу в Северной оконечности Аляски. Задуманный ими 15–ю годами прежде маршрут их жизни был пройден! После полутора лет пребывания в Анкоридже они, по оптации, натурализовались в Канаде. В Ванкувере…;

… Отшумел митинг на площади авиакомпаний.

Нас пригласили к машине. Томи Имаи усадил меня одного на её заднее сидение. Рядом с шофёром сел молодой человек. Отрекомендовался: — Ясуо Найто, — «представитель отдела внутренних новостей Газетного Концерна «Синкей шимвун». Я буду сопровождать вас всё время, которое вы изволите провести у нас. — … Он изъясняется по–русски характерным московским говорком, и идиомы у него наши, словно у коренного жителя первопрестольной. Спрашиваю его: — Где это вы так по–российски натаскались? — В Москве. Папа был многие годы пресс–атташе в России. И я с первого по 10–й, и даже по 11–й класс учился в школе на Кутузовском проспекте…..

— Не слабо!

— Что имеем…

В это время кортеж тронулся и погнал к выезду из аэропорта. Впереди, в два ряда, летел патруль полиции. По бокам нашей машины, будто приклеенные, держались мотоциклисты дорожной службы. Сзади шла колонна машин, впереди которой, тоже парой, у нас «на хвосте» — открытые «Хонды» с телевизионщиками. На выезде они перегнали нас, устроились за полицейскими патрулями, и уже не спускали с нашей машины объективов своих камер.

— Почему я один?

— Как, «один»?! А я?

— Нет, в смысле, почему без друзей, — они хотели поговорить со мной…

— Так: у нас устроена традиция встреч высоких гостей…

— Так то — высоких. А я…

— Именно, — вы и есть высокий гость! Что сделали для Японии, для японцев все вместе взятые президенты, премьеры и чужие нам герои? Ничего, ровным счётом… А вы, — да что вы прибедняетесь, господин Додин–сан! Вы отлично знаете, что сделали для всех нас…

В это время колонна повернула влево и вышла на широченную автостраду к Токио. Слева и справа стены тропического леса по нескончаемым стенам бесконечного тоннеля под сверкающей голубизне бездонного неба… Незаметно очутившись в окружении прессы /и телевидения, конечно, но пока на дистанции в одну машину/; Ясуо — как из воздуха, «достал» блокнот и… прессконференция длиною в полтора месяца началась….по ходу парохода…

… Токио. Калейдоскоп улиц…

Въезжаем на территорию Университета Иностранных языков — одного, из множества «заявивших» меня учебных центров. Выползаю из машины… Сразу попадаю: в окружение знакомых лиц: — Ясуо Ишии!… Мы обнимаемся и оба плачем… Много, ой, много чего пережили мы с ним в Братске! Главное — обрели необыкновенную сердечную близость абсолютным пониманием друг друга… Множество японцев были моими друзьями в ОЗЕРЛАГе; кто–то из них — очень близкими… Но он стал самым дорогим мне существом, напомнив моего давно покойного друга Алика Молчанова неприятием неправды. Как стал Ясунори Матсуо. Этот был многолик и обильносердечен. В нём было что–то и от римских философов, и от российских православных богословов, и от еврейских мудрецов, — от тех, что искали смысл в окружавшей их бессмыслице. Главное, это был трепетно — сердечный человек… Где он? Почему нет его среди пришедших встретиться?…

И почему среди встречающих не вижу Садао Куранари — рыбака с Хоккайдо, с которым была у нас тихая, почти безмолвная, душевная близость людей, боготворящих Природу? А ведь мне писали, что он жив и здоров. Что счастлив, узнав, что я выжил и жив… Почему нет его?

Почему нет Еийши Танака — кровника, который, погибая, вытащил меня, однажды, из Ангарской бездны, учителя географии с острова Дого, из Сейго? Синдуистский богослов, — он увлёк меня древней историей страны, читал, изустно, старые японские книги по философии географических открытий, и… наизусть выпевал стихи бардов японского межвременья… Не написав поэтической строчки, он был великим поэтом!

Где он? Почему не встречает? А жив, — это я уже знаю.

Почему меня не встречает мой кровник Хитоши Китагава — житель Хачийо, островка, что на юг от Токио — мастер по электрооборудованию всей известной транспортной техники? Его почему нет? Он славный мужик, добрый товарищ… Между прочим, попросту, обязанный мне жизнью, и доказавший, что умеет быть настоящим другом. Почему нет его?…

Но все эти риторические вопросы к никому никому задать не успел. У машины ожидали и сам ректор Университета профессор Такуя Хара, и Ясуо Найто, Морихидо Секи — директор Программ Телевидения «Киодо», Каори Ишии — представитель Отдела Новостей «Фуджи Телевижн», Ясуши Ишихара — директор Газетного концерна «Йомури шимвун», Кейсуке Мицумото — шеф–корреспондент литературно–общественного толстого журнала "'Бунгей–шунжи», успевшего издать несколько моих повестей и эссе а потом поместить фотографию со мной и мэра Нагасаки у могилы моего прадета Саймона Шиппера… Профессор–ректор Университета Токио Массаджи Уатанаве, — великий японский переводчик с русского языка, — Юрии Якимайнен — ассистент кафедры славистики и замечательный человек, прекрасный публицист и писатель, НАШЕДШИЙ МЕНЯ И ПОБЫВАВШИЙ ДОМА У МЕНЯ В МОСКВЕ, несметное сборище неизвестных мне и по сей день репортёров газет, журналов и телевизионных групп…

Пресс–конференция в актовом зале.

Представления…

Но всему есть конец… Я оказываюсь в «одиночестве» — рядом «только» Юри Якимайнен, Ясуо Найто, Тацуро Катакура, Массаджи Уатанаве и Такуя Хара. Они церемонно ведут меня в мою постоянную — на время пребывания в Японии — парковую резиденцию «Сакура».

Она — в совершенно умопомрачительном саду Университета; в уголке его — в национальном стиле уютнейший домик, укутанный кронами платанов и вишнёвых деревьев. «Слуга» спрашивает: — тебе что нравится, — европейский стиль или традиционный? — Японский, — говорю. — Чудом попасть в Японию — и… Европа!… Японский, конечно.

По уютной лестнице, — через японскую гостиную, — меня проводят на второй этаж. Там — древняя Ниппон, — страна Восходящего Солнца! С волнением вспоминаю рассказы мамы о её жизни здесь, на Островах. О её первых, и уже никогда не сменяемых впечатлениях об этой удивительной стране. — Нравится? — Очень! — Тогда, — говорит Уатанаве, — пожалуйста, — сюда! — Он открывает дверь… И я оказываюсь в волшебной сказке — в древней, времён сёгунов, Японии… А сзади, в самурайских веригах, «слуга».

… Будто под ослепляющим светом утреннего солнца увидал пронизанные воздухом раздвижные «стены» спальни, песочного цвета плетённые татами, низкий белый потолок, постель на циновках, длинную тонкую подушечку… Подушечка — вот что мне надо! И я запрыгиваю в маленькую, но глубокую ванну — в

приготовленный для японского кайфа… кипяток! Выскакиваю, ошпаренный…, но целый, взвыв от неожиданности… Мне бы перетерпеть и посидеть в ней, балдея от удовольствия, — по–японски… Но — спа–ать! Спа–ать! Я. утёрся полотенцем, потянулся и прилёг, кости расправил после тридцатичасового полёта и митинга в аэропорту, после полуторачасовой гонки по тоннелю Норита — Токио… После представлений…

И мертвецки проспал двадцать три часа!… Так мне доложили.

Конечно, меня и не думали будить. Видимо опыт подсказывал, что бесполезно. И ни к чему…

Вскочил. Огляделся… Снова влез в кипяток… Хорошо-о!…

Одел приготовленное кимоно — кимоно будет теперь, — все полтора месяца, — моей одеждой в «европейских» и традиционных — рекане — гостиницах, поездах и частных самолётах… Окликнул «кого–нибудь». Но никто не отозвался. Я спустился вниз. На столе в гостиной, под шелковым, покрывалом, меня ожидал «завтрак»/?/. Или ужин?…

Рассказы мамы я запомнил. И хотя прошло 38 лет, как умерла она, догадался: буду есть Суси и Норимаки — варёный, уксусом заправленный рис лепёшечкой, поверх которой — варёное мясо или рыба, — сейчас это была солёная лососина и ракушечья плоть, креветки, кальмары и… что–то вроде среза щупальца осьминога…. Это всё ещё Суси… А вот и Норимаки — порфира / сушеная морская водоросль нори/, в которую завёрнут рис. Такой, как в Суси. Только в этом рисе — ещё и омлет со шпинатом и со стружкой сухой тыквы — кампио — отваренной в соевом соусе….

И это всё я один должен съесть?!

Но, вот, съел же… Оказалось — можно. Можно, значит, жить и здесь. Чем же запить? На столе сосуды с водой, вином… Приглядываюсь: ба!

Да это же то самое… вино, — нет, не вино — виноград

«Оши–чи», что мы пригубили с Масаро в аэропорту! Которому «больше четырехсот лет»! А вот и записка: «Раз Очи–ши тебе нравится — пей его на здоровье!«…

Почерк секретаря Масаро. Спасибо, секретарь! Спасибо, друг Масаро!

Наливаю бокал. Пью. Что–то невообразимое, особенно после отдыха, после мёртвого сна… Нет! Не передать ощущения блаженства, наплывающего за несколькими глотками «императорского» винограда! Слава виноградоделам острова Хираро! За их здоровье!… Теперь нужно выпить за здоровье самого Масару!… За твоё здоровье, друг!… Теперь… Теперь за

светлую память Тому Ибуки — его покойного брата, товарища моего и однонарника по ОЗЕРЛАГу… За твою светлую память, Тому!…

После пары часов нового приступа сна, меня заново макнули в японскую кипящую «микву», потом поставили под ледяной душ… Две чашки удивительно вкусного чая, — и я, будто живою водой умытый, на ногах. Меня ведут в актовый зал Университета. Мой продолжительный сон несколько помял разблюдовку моего времени, утверждённую много раньше моего приезда. Потому сейчас меня будут принимать — слушать и задавать вопросы — студенты, аспиранты и преподаватели Университета Иностранных языков.

Скромное помещение — аудитория человек на девятьсот — заполнено плотно, — сидят на ступенях в проходах и на подоконниках. Эмоционально встречают. Кажется, что у всех в руках газеты с моими портретами. На грифельной, как в школьном классе, длинной доске мелом — «ограничение», — у аспирантов–славистов коллоквиум. Тема: «Дружба народов». Потому:

«… Господин Вениамин Додин–сан расскажет про дружбу и… юность в Советских лагерях ГУЛАГа»… Так вот: «Дружба народов в преисподней…»;

Сотни репортёрских аппаратов, десятки камер нацелены на человека, который должен рассказать «о дружбе и юности» в сталинских застенках!

Ну, что же, и не такое выдюживали. Тем более, у меня цель, корреспондирующаяся с «южно–курильской» — хоть чем–то помочь россиянам!

Здесь Масаджи тихонечко предупреждает: В нашей аудитории и твои товарищи! — Всматриваюсь, но, ослеплённый софитами, ничего не вижу… Ладно. Разберёмся… Значит: «О дружбе и юности»…

Забегая вперёд, скажу: ни в одном из моих бесчисленных обращений к японцам, как и на той встрече с аборигенами Университета Иностранных языков в Токио, я душою не кривил. «Лекция» записана была и на мой диктофон, и на диктофоны сотен прессагентств. И воспроизводилась в качестве вступительного слова, а вернее, вместо моей визитной карточки, во всех аудиториях и студиях, где я выступал после Токио. Вот выдержки.

«… Пережитая вами, мои лагерные друзья, трагедия плена и заключения мне близка и понятна. Как и то, что ваши физические страдания в неволе обернулись ещё и крушением уже дома, на родине, десятков тысяч ваших судеб, якобы, вашей причастностью

к структурам КГБ, домогавшимся вас в неволе. Возвратившись домой, все вы оказались «тайными агентами» НКВД. И среди вас — мой товарищ по Братску Тацуро Катакура.

/Забегая: Моральные муки Тацуро Катакура первым почувствовал и в общем воспроизвёл в своём очерке о наших взаимоотношениях, — очень не простых, кстати, — Камерон Хей, корреспондент «Джепен тайме:", 17 октября 1991 года/.

— Да, — продолжал я, — советские лагеря сломали, искалечили десятки тысяч судеб, погубили многие тысячи жизней японцев. Но ведь и несопоставимое число судеб и жизней в десятке стран Азии были погублены вторжением туда японской армии в начале 30–х годов, многие года разбойничавшей там. А в декабре 1941 года ещё и нападением ваших военно–морского флота и авиации на Пёрл Харбор, развязавшим войну на Тихом океане, окончившейся массовой гибелью мирных граждан в Токио, Хиросиме, Нагасаки… Но мы — о русских и ГУЛАГе, которые до конца дней останутся в памяти выживших и возвратившихся. Так знайте и вы, что в «том самом» ГУЛАГе только в «мирные», невоенные, года замучено, погибло, пропало без вести миллионы российских граждан? Тех самых «русских», которых вы не устаёте называть вашими палачами…

Ни в коем случае не пытаюсь умалить масштаб вашей человеческой трагедии в ГУЛАГе. Но это не значит, что я могу забыть о Русской Катастрофе. И вот, как бы вне всякой связи с этим, я задаю вопрос тем из вас, кто выжил и вернулся. Задаю вопрос женам, детям, внукам вернувшихся когда–то, но, как кровные братья мои, мои друзья по Братскому лагерю Тому Ибуки, Ясунори Матсуо, как сотни других моих друзей, не доживших до этой вот встречи. Спрашиваю живых, спрашиваю жен, детей и внуков уже ушедших японцев: выжили бы их близкие и вернулись бы домой, не будь рядом с ними в те страшные годы добросердечных русских людей, — таких же, как и они, заключённых–каторжников? Тех, кто голодая сам, имел мужество поделиться с японцами — соседями по нарам — бесценным ломтем хлебной пайки и несколькими ложками пустой но горячей баланды, кто отдавал покалеченным на путевых работах японцам свою кровь, — а крови–то у них было чуть–чуть, чтобы только самим выжить. Которые, не задумываясь, отдавали снятые с себя, годами скрываемые при шмонах, «незаконные» душегрейки и последние носки, чтобы спасти от гибели на сорока–пятидесятиградусном морозе замерзающего японца, выходца с какого–нибудь тропического островка Якушимы.

Но это всё — заключённые, товарищи по несчастью.

Но ведь рядом всегда были и другие русские, и не русские, —

не заключённые — вольнонаёмные; и они тоже помогали выжить нашим товарищам всех наций и народов, которыми издавна в бесчисленных своих зонах и лагпунктах до отказа наполнен был «Архипелаг-ГУЛАГ».

В Братске вольные работали вместе с нами на строительстве железной дороги и мостовых переходов. И они помогали нам так же бескорыстно и самоотверженно, но только рискуя при этом собственной свободой, судьбою близких, иногда — жизнью их и своей…

Были рядом, — ближе некуда, — офицеры и солдаты — конвойники. «Гады». Многие из них навсегда остались в памяти нашей, ими же и покалеченной, извергами, палачами, убийцами.

Они этого заслужили.

Об этом написаны горы воспоминаний. Об этом — тьма изустных свидетельств, — былей и «баланд». Не это всё — только лишь полуправда. Правда в том, что нам с вами не забыть никогда — нам, и вам, — бывшим заключённым ОЗЕРЛАГа в Братске. Вспомните, как мы, бригада кессонщиков, не сговариваясь с вами, гражданами Японии, в августе 1949 года бросились вместе в ледяную Ангару, в заранее обречённой попытке спасти гибнущих в стремительном течении солдат конвоя и их офицера…

И нас тотчас накрыл пулемётный огонь со сторожевых вышек….

Через день, рядом с могилами лейтенанта Миши Крочека — чеха, сына военнопленного Первой мировой войны — и трёх солдат, имён которых мы так и не узнали, бригады похоронили своих товарищей. Это были японцы Тсубо Эциро, Хатори–сан, Садао–сан; немец Хорст Биерманн; латыш Антанас Лиепа; украинец Василий Соколов; русский Сергей Лопатин… Меня не похоронили тогда потому, что Еийши Танака, — я вижу тебя, Еийши! Я узнал тебя, друг!, — потому, что вот этот человек, — вот он сидит в шестом ряду, — встань, Танака–сан, пусть все увидят тебя! — Потому, что вот этот человечище!, истекая кровью из шести пулевых дырок и теряя силы, вытащил меня из Ангары и вынес на берег…

Спасибо тебе, брат мой!…

А что было весною 1950 года?

Тогда, перед Падунским порогом, взвод конвойных солдат кинулся в шугующую реку, в стремительный, километровой ширины каньонный бешеный поток, покрытый полутораметровой толщины летящими по нему льдинами… Бросился спасать полсотни заключённых из перевернувшегося и затонувшего под напором ледяной массы кессона. А среди погибавших были и

японцы. — Вижу тебя! Вижу, узнал! Встань, Марумо–сан! Встань и покажись всем, старик! — Вспомни, как второй раз родился!

… Нас–то, всех, они спасли. Только половину из взвода, вместе с лейтенантом Левченкой — имён не знаю — Ангара унесла в Океан…

Об этих «происшествиях» в Братске я напомнил только потому, что и вы были их участниками. Или знали их подробности. А о скольких подобных трагедиях, в которых люди оказывались, вдруг, настоящими людьми, вы знать не могли?!… И вот ещё что, друзья мои.

Почему–то, всё доброе, светлое и помогшее вам выжить, ассоциируется вашей прессой лишь с памятью о моей матери и, даже, с моим именем. Это совсем не так. Одна она, или один я ничего бы не сделали, если бы рядом с нами, если бы вокруг нас не существовали добрые люди!

Другое дело, число их было очень мало, — безусловно честных и порядочных, — которые решались нам помочь. Чрезвычайно суровой, неадекватно жестокой оказывалась неотвратимая кара режима за всякое доброе дело, исполненное по собственному велению души или просто человечности. Особо это относилось к командно–офицерскому составу, чьё предназначение, по раскладке власти, — заставить каторжника вкалывать до последней минуты его «жизни»! И не позволить разбежаться!

Однако, всегда находились люди, что решались нам помочь. Или, хотя–бы, не поганить и без того испоганенные жизни наши. Это были люди, которых сталинщина так и не сумела, превратить в рабов или просто в мерзавцев. Кто они? Если уж заговорили мы о спасении японских военнопленных в 1949–1951 годах в Братске, я могу назвать имена россиян, тех, кто рисковал своим положением, собственной и своих близких судьбой, свободой, жизнью, наконец…! Всем рисковал только за согласие принести в зону еду, лекарство, курево, вынести письмо, за сам «факт участия в контрреволюционной деятельности фашистской Организации «Спасение»".

Это вольнонаёмные инженеры–мостостроители Мостового отделения ОЗЕРЛАГа поляк Великопольский, русские — Лавров, старший лейтенанты Шацкий, Борисов, евреи — начальник Мостового отделенияЛев Ильич Столяревский — полковник НКВД, его жена Сарра Йоэловна — начальник производственного отдела, украинец Владамир Павлович Шамота — начальник Больницы, служащие конвойного полка Заярской конвойной дивизии, русские, Евгений Полянский, Серафим Зязин, Иван Лыско… Всех не перечислить.

А те, кто спас японских беглецов? Зэки–японцы бежали из Богучанских лагерей. Потоком брёвен, загнало их за тысячу километров — в низовье Ангары, в непролазную глушь таёжных урманов Енисейского Кряжа! И там, погибающих, их нашли, выходили и несколько лет опекали ссыльные — братья Отто И Ленард Кринке, ссыльный ленинградский поэт

Толя Клещенко, семьи аборигенов–охотников из ссыльных Забайкальских казаков — Соседовы Михаил и Ольга, Тычкины Аркадий и Елена… По моей просьбе замечательный мужик — реформистский раввин Исаак Слуцкий, сосланный в Новосибирск, направлял к японцам врачей, — местным мы довериться не могли, — присылал лекарства, снабжал деньгами… Все они были не просто моими помощниками. Они. души свои отдавали бедствующим и несчастным…

А сколько людей — не лагерников и не ссыльных — спасали меня самого? Спасали все полтора десятка моих тюремно–лагерно–ссылочных лет! Разве выжил бы я, разве вышел бы на свободу, если бы не вмешательство в мою судьбу, в судьбы моих близких генерала Дуайта Эйзенхауэра и маршала Георгия Жукова?

Да и до самих–то тюрем с лагерями не дожил бы я, не сведи меня судьба с моим, — детдомовским, сперва, а потом «на воле», — опекуном Иваном Степановичем Панкратовым, — чекистом, между прочим:! Вергилием моим. С его молодыми друзьями, «сынками», Сергеем Егоровичем Егоровым и Александром Евгеньевичем Головановым. Не столкнись я с лубянским опером — с Евгением Фатовым. Он вёл следствие после ареста истязавших меня Ройтмана и Большого — бо–ольших, надо сказать, мерзавцев, пытавшихся, избивая меня, загнать «под трибунал», где мне — «высшая мера», расстрел. А им — надежда удержаться на верхних этажах Лубянки, а не загреметь в её подвалы…

Провидение свело меня и в начале лагерного пути с настоящим палачом — украинцем Галушкою. Я не знаю ни его имени, ни отчества, но поминаю вот уже более полусотни лет ранним утром 7 декабря 1941 года и повторяю крик его: «Иди, пацан! Живи!»…

«Подробности этой встречи» полстолетия мусолились всеми мировыми СМИ. Замечены были, наконец, и в России. И не стоило бы о том вспоминать, но только хочется ещё и ещё раз напомнить вам, что жизнь наша — вся — состоит из таких вот нечаянных встреч с добрыми людьми. И без них — без таких вот встреч и таких вот людей ни вам, ни мне не удалось бы выжить в России. Она полна ими. Только, в отличие от мерзавцев и подлецов, их не

видно, будто и не существуют они вовсе. Но они есть. И возникают, когда кому–нибудь плохо, и нужно ему помочь…

И ещё. Оценку вами, Японией, вашим народом деятельности моей матери доктора Стаси Фанни Лизетты ван дер Менк'е, её последователей, её друзей и моей собственной в системе Организации «Спасение», я воспринял как право обратиться к народу древней Ниппон с призывом о милосердии к терпящим бедствие народам СССР. Со всех доступных мне трибун я говорил:

— Сегодня русским плохо. Плохо старикам, которые помнят и о вас; плохо молодым, которые, наверняка, ничерта о вас не знают. Ваш человеческий долг — помочь им выжить. Помочь им выстоять в трагическом противостоянии вселенскому злу, что душит россиян вот уже семьдесят четыре года, да так и не отпускает народного горла по сей день. Ваш долг помочь им выжить и выстоять в скогтившем их голоде, в холоде надвигающейся зимы. Русские — ваши соседи. Вы «приговорены» историей и географией жить рядом с ними у одного моря, на одной Земле. Сегодня у вас есть возможность открыть новую, ничем не замаранную, добрую страницу в отношениях с вашими северными и западными соседями. И разрешить, — я искренне в это верю, — все накопившиеся между вами проблемы и недоразумения. Из ваших рук я получил право напрямую обратиться к вам, как к моим братьям. И вот, я прошу вас быть милосердными и мудрыми. И да поможет вам, и нам всем, Всемогущий Создатель!…»

… До позднего вечера держала меня аудитория. Распрощавшись с нею, кинулся я навстречу своим друзьям, терпеливо ожидавшим этой минуты. Не стану их перечислять и заново называть — их имена в тексте этих записок.

И вот, мы разместились на лежанках Национального ресторана «Хонсю»…

… Поздно ночью, расставшись с ними, я попал с бала на корабль. В сопровождении Масару Ибуки и Такуя Хара, я оказался в районе токийских небоскрёбов Синджюку — в новом центре Токио, перенесенном из Касумигасеки. В одном из них, «Кейо плаца отель», меня ожидала встреча с интересной публикой, — «Высшим эшелоном японской промышленно–научной элиты», по выражению Такуя. В уютном круглом зале ресторана расположилось человек двадцать внешне ничем не отличных от вида «уличного» японца прилично одетых людей. Сразу начался процесс представления — меня им. Все встали из–за своих столиков. Мы с Масару и Такуя подходили на расстояние протянутой руки. Называли друг друга. Обменивались кратенькими любезностями. И церемонно, по–японски, — ноги

держатся прямо, корпус, шея и голова тоже, но согнутые в тазу, — раскланивались.

Кто же были эти люди, собравшиеся в час ночи, чтобы кланяться мне?

Были они хозяевами или Президентами /или Председателями Советов директоров/ гигантских корпораций страны и мира — Фуджитцу, Нек, Хитачи, Матцушита, Канон, Митцубиши, Оки, Тошиба, Акер, НТТ, Сони, конечно….

ПрезидентМитцубиши Садао Томишиге, устами своей прелестной секретарши–переводчицы Каки Огура объяснил: — Мы все, собравшиеся в этом зале, хотим познакомиться с нашим национальным героем и стать его верными друзьями и помощниками. Ибо то, что он сделал для нашего: общества и делает в своём SPASENII беспрецедентно и поучительно…

Он что–то ещё говорил, и Каки переводила мне его слова, но я, будто, их не слышал… Я — особа, не теряющаяся ни при каких условиях. Смутить меня сложно. Вообще… после увиденного и пережитого в трюмах барж «Бакинского этапа» человека ни напугать, ни смутить невозможно в принципе. Но вот, смутился я… Душу мне перевернули слова самого, быть может, сильного на Планете человека…

Несомненно, не случись всё это внезапно, вот так вот — во время удивительной церемонии раскланивания и представлений, я отнёсся бы к словам даже и Президента Мицубиши спокойнее, без излишнего драматизма. Но так не случилось: сказанное им было неожиданно…

Потому все, что я говорил в эту ночь в затемненном зале ресторана Кейо плаца отеля было словно не от меня, а от взволнованного пришельца «из неоткуда» - даже не с Островов «Архипелага ГУЛАГ»…

Когда я говорил, стояла мёртвая тишина. А рассказывал я о горькой и страшной судьбе только моей семьи. О судьбе женщины, которую все они, сидящие за столиками и освещенные бликами настольных ламп, завешанных цветными японскими безу, привыкли боготворить с тех пор, как каждый из них пошел в первый класс и от учителя услышал об истории своего народа…

Я очнулся, когда мои слушатели встали и раздались аплодисменты…

Потом выступил Масару. Его слушали не менее внимательно. Мне слова его не переводили: он понял моё смущение от панегирика Садао Томишиге. А говорил он о маме и обо мне. И о своём покойном брате Тому, моём товарище. После него встал старик — Президент Хитачи, — небольшого роста атлет с морщинистым лицом и маленькой седой бородкой. Начало его

выступления тоже, было, не переводили. Но, вдруг, Каки подошла к нему. И… оказалось, что и его брат, — двоюродный, или какой–то ещё, — тоже был в Тайшетских лагерях. И я ему, оказывается, так же отдавал кровь и хлеб. Кто же он? Видя на моем лице недоуменный вопрос, Каки переспросила старика. Он ответил: — Да, вы его забыть не можете, — это Шинуйя Йамагучи!

… Да, забыть его я не мог. Как не мог забыть всех тех, чьи портреты рисовал. А рисовал я в те годы тех моих товарищей, кого любил, кого уважал, кого хотел, — мечтая, — сделать в рисунке бессмертным. Видимо, какой–то элемент честолюбия во мне квартировал, хотя вообще гордыня совершенно мне не свойственна: меннонит «сидит» во мне генетически, от маминых предков. Развалясь сидит, полагая, что пороки «обычные» ко мне не липнут…

… Финансовое положение Организации вашей матери?

Этот вопрос задан был тотчас после того, как большинство участников ужина попрощались со мною и оставили зал. Он освобождается от европейской мебели. Вносится японская. И стол со скияки — «пивной» говядиной и овощами в раскалённой от пламенеющих углей жаровне. Блюдо — без масла, но всё кипит в мясном бульоне и соевом соусе с… водкой. Рядом, в булькающем креветочном Осе, китайская лапша…

А атлет — Президент Хитачи Тоиди Аоки — повторяет вопрос: — Финансовое положение Организации вашей матери? Каково оно? —

Каки переводит вопрос, — теперь уже мой: — Зачем вам ещё и эта головная боль? Положение «Спасения» — моя проблема…

— Бросьте! Проблема эта наша, в крайнем случае, наша с вами. Я наслышан, как вы «решали» задачу оплаты поездки к нам сюда. Вам не кажется, что вы поставили всех нас в крайне двусмысленное положение? Во–первых, почему вы не обратились к нашему послу в Тель—Авиве? Или не его дело — обеспечить ваш приезд в страну, где вас ждёт народ? Вы и его поставили перед совершившимся фактом… совершенно бесстыдного поведения газетёнки, уверовавшей в свою безнаказанность. А сами вы,.. — как можно было без нашего юриста подписывать столь одиозный документ? Или у вас в Иерусалиме нет телефонной связи со столицею Израиля? Надо же — подмахнули совершенно кабальный контракт! Как в Африке прошлого века, или в Америке времён ограбления индейцев! Читал, и глазам не поверил: как можно было отдаваться в руки ростовщиков и соглашаться о передаче им всего вами написанного? Непорядок, Додин–сан! Непорядок…

Он ещё кое–что говорил, но обнародовать его мысли вслух

рано.

Мы, конечно! исправим вашу оплошность. Но постарайтесь впредь быть осмотрительнее… Он принялся за скияки с лапшой. Мы — следом. Его отповедь тронула меня не очень: в конце концов, я — тоже «из евреев». И, подписывая «кабальный контракт»', ничем не рисковал, кроме возможности по свежим следам распорядиться своими впечатлениями о поездке в Японию. И то, только лишь за её пределами. Что касается «передачи всех материалов»… Они давно опубликованы. Но… Только теперь я понял, какого дал маху, согласившись передавать все свои написанные в Японии впечатления только газете «Едиот ахронот»! Но после драки кулаками не машут… И всё–таки — каким таким образом Аоки–сан собирается исправлять мою оплошность?… И… что это за такая «пивная» говядина, интересно? Спросил. Аоки–сан ответил: «пивная» потому, что коровы для неё откармливаются специальной травой, смешанной с пивными дрожжами и отпаиваются пивом. Я чуть было не ляпнул, что ведь это же дорого… Но сходу вспомнил — кто мои собеседники. И подумал: так ведь у нас, в Мстиславле когда–то, коров тоже поили пивными дрожжами и пивом со спиртзавода!

Окончив трапезу, Аоки–сан выдернул из бокового кармана чековую книжку. Заполнил чек. Передал его Масару. Тот, не взглянув, забросил его в подсунутую секретарём крокодиловую папочку. Мы вышли. Стояла безлунная ночь. Ветер с океана гнал палые листья, стряхивал с крон деревьев невидимых птиц, обиженно оравших. Звёзды, как на полотнах Кандинского, — цветными пятнами отражались в стене огромного здания Митсуи — «Зеркального». Воздух был напоён запахами тропических цветов, чем–то напоминавшими нежное дыхание манговых лесов на. побережьи Арубы, — семейного островка у Южной Америки в Карибах…

Несколько часов гуляли мы, тихо беседуя; прошлись по Хараджюку, заходя в магазины. Сделали несколько покупок, — как потом узнал, — для Нины. Посидели в аллее, чем–то похожей на Елисейские поля в Париже. Поглядели на монастырь… И всё это время я отвечал на бесчисленные вопросы и самого Тоиди, и Масару, и, конечно, Каки, оказавшейся до чёртиков любопытной. Но все они были — о судьбе моей семьи. Никогда не думал, что она может быть интересной совершенно, вроде, посторонним людям. А если точно, — существам иной цивилизации, и уж, безусловно, пришельцам из откуда–то! И тут вспомнил: мама говорила: — Японцы, конечно, не люди. Земляне. Они совсем другие. Из другого мира…».

Расстались мы с рассветом. Очень кстати «подвернулась»

машина. Так же «кстати» рядом оказались молодые люди, любезно меня в неё пригласившие. Они даже проводили меня до территории Университета, пройдя мимо его охраны как меж столбов…

Я снова влез в кипяток!…

… Проснулся рано, — в смысле, поздно. Через полтора часа за завтраком мы с Масаджи приняли корреспондента… «Едиот ахронот» в Токио — очень милую даму Наоми Родриг, которая, сходу, пригласила меня домой в район Йотсуйа. Так как явился и Ясуо Найто, она попросила быть и его.

С этого момента и до отлёта в Париж Ясуо больше не отходил от меня. Не отходили и телевизионщики. И хотя охрана в мою резиденцию их не впускала, они преспокойно снимали меня через окна салона первого этажа.

Я отпустил Нами, договорившись с нею о порядке передачи ей для газеты моих репортажей, к которым я пока приступать не думал: слишком навалилось всего…

Днём — первая лекция в Университете. Встреча с корреспондентским корпусом. Обсуждение с Найто–сан и Масаджи программы издания «Сибирских рассказов», романов «Вверх по Красной реке» и «Площади Разгуляй». Найто сообщил как его газета будет рекламировать романы. Потом поздно вечером — ужин с членами Токийского муниципалитета, Президентом и ректором Университета, руководителями промышленных корпораций, редакторами газет, директорами телекомпаний. И, уже ночью, Национальный Японский театр Токио–гейазуцу–экийдзе — верный наследник Кабуки…

Видел прежде, — и не раз, — знал, понимал… Но такое — впервые! Точно — инопланетяне… И уснуть не мог… Дремал только.

Проснулся рано. Решил: побегаю по парку, благо он — сказка, будто с японских календарей сусальные фото… Побегал. Но не один, — чуть сзади и с боков бежали… те самые, что «кстати» подвёртывались, когда надо было возвращаться к себе, в «Сакуру»… И которых встречал на каменной дорожке из резиденции на кафедру и обратно. Значит, порядки такие.

Только принял кипящую «микву» и позавтракал — Ясуо тут как тут: — Господин Додин–сан, — вас очень хочет видеть господин Каори Ишии — директор Отдела новостей «Фуджи телевижн» - … Встретились — сам изволил прикатить в «Сакуру». Сообщил: Совет директоров телекомпаний, совместно с «Киодо ньюс», созывает «круглый стол». Тема — «Память доктора Фани — Стаси Фанни Лизетты ван дер Менк'е». Инициатива — от иерархов Синдуизма… Серьёзно!

Только Ишии–сан отъехал — звонит госпожа Каки Огура: — Господа Садао Томишиге и Масару Ибуки хотели бы с вами встретиться. — Когда? — Когда вам будет угодно. — Хорошо. Я перезвоню…

Неожиданно явился Тацуро Катакура: — Необходимо срочно посетить посольство Израиля! — Но зачем?! Я могу встретиться с израильтянами у себя дома!… — Да, но нужно помнить, что вы именно из Израиля, и что вы должны быть обезопасены от возможного нападения террористов. А это — прямая обязанность посла вашей страны!…

— Да? Но зачем я террористам? Я ведь гость державы, дружественной… ну, пусть не так уж и дружественной, но… терпимой, что ли, к тем, кого следует опасаться! Потом, я ещё и «герой народа», которого этот народ так страстно полюбил и, верно, и без того бережет… Ведь всё время — и всегда очень кстати, — его представители — некие молодые атлеты — оказываются рядом со мною… Наверно, они тоже в состоянии меня «обезопасить»? Не так ли?… Но Тацуро пропускает мои резоны мимо ушей и заявляет: — Господин Додин–сан! В планах вашего посла предусмотрена такая встреча!… — Ладно, — говорю, — раз предусмотрена — значит так тому и быть… Но, дорогой, «господин» Катакура–сан, — с каких это пор вы взялись мною распоряжаться? По этому поводу вы моего согласия не спрашивали. Так вот, Тацуро, прошу впредь интересоваться моим мнением о таких «предусмотрениях»! Или же буду просить организаторов моей поездки избавить меня от твоих, парень, услуг… Понимаю: тебе это будет очень неприятно. Мне — тоже, — мы с тобою делили нары, и не только… Тебе ясно?

Ему было ясно, — я это сразу заметил. Как незадолго до этого нашего разговора стали ясны причины полной «подмены» моего братского сопосидельца. Вдруг непонятные агрессивность, раздражительность и даже озлобленность начали исходить от него! Сперва — вроде, на всех. Но вскоре — только по отношению ко мне. Это выражалось во множестве мелочей его поведения. Но, главным образом, в попытках, — правда, безуспешных, и потому вызывавших его совершенно бешеную реакцию, — отсечь меня от моих друзей и настроить их… да, пожалуй, и настроить их против меня…? Зачем? И для чего? С какой целью?… Хуже всего было то, что эти мои догадки, которые искренне относил я на счёт моей усталости из–за навалившихся на меня событий, достаточно эмоционально подтвердили друзья…

А ларчик просто открывался…

Дело в том, что правительство Японии обеспокоено было впечатляющими масштабами раскрытий… советской агентуры, то

и дело обнаруживаемой и среди бывших военнопленных. Один из пиков этого печального обстоятельства пришелся как раз на время моего прибытия в Токио. Чиновники контрразведки не придумали ничего более «умного», как… в который–то раз после Второй мировой войны обязать всех «ветеранов» советских концлагерей предоставить в органы безопасности Японии… «Справку» советских спецслужб о деятельности каждого из бывших пленных в СССР… Что тут скажешь?… Но что же старикам делать? Кто им, в Японию, пошлёт такое?…

Узнав об этой дикости ещё в Москве, и получив от Катакура–сан его адрес, я начал действовать. Справку на него запросил. И, чудо, получил её! Ровно, между прочим, за 5 суток до депортации в Израиль. Вот её текст:

«На ваше заявление об установлении судьбы Тацуро—Катакура /…/ сообщаю, что нами произведена проверка, в результате которой установлено, что Тацуро—Катакура, 1919 года рождения, уроженец г. Акая Японии, 16.10.1945 года был осуждён по ст. 58–6. ч.1 УК РСФСР за шпионаж к 10 годам лишения свободы. 14.10.1953 /то есть, через два с небольшим года после моего «освобождения» и этапа в ссылку. В. Д./ убыл из Иркутской области для дальнейшего отбывания наказания в Камышевский ИТЛ в Омскую область»;.

Получив «Справку», я немедля отослал подлинник Тацуро. Копию её осенью 1991 года я привёз ему в Японию; и с шуточной торжественностью, и даже стихами, сопроводив церемонию вручения бумаги… Шутка принята не была, а реакция на неё вовсе мне не понравилась. Что–то было не так…

Я в том виновен? Но откуда было мне знать что представляла для японских властей, перлюстрирующих письма бывших военнопленных, эта, с виду бросовая, бумажка? А означала она многое. В частности, то, о чём случайно, в 1993 году, в Москве, узнал от бывшей сотрудницы… того самого «Камышевского ИТЛ» Елены Владимировны Шарыгиной: — Камышевская ИТЛ Омской области — это эвакуированный туда во время войны Филиал… Вильнюсской Высшей школы НКГБ; там из отобранных японских офицеров–военнопленных готовили резидентов советской разведки. Между прочим, по фотографиям в японских газетах и журналах, которые я показал Шарыгиной, она тотчас опознала нашего общего знакомого — Тацуро Катакура…

Конечно, вернувшись из СССР домой, «резидент» новое своё качество, приобретенное в Камышево, скрыл. Зато теперь, в начале 1991 года, имел неприятности. О том сообщил мне «по секрету» Ясуо Найто — спец по «внутренним новостям». Отныне Катакура–сан лишался права занимать государственные

должности. Но он, после возвращения, успел 35 лет отработать учителем и ещё в 1990 году заполучить пенсию. «Обманул», получается, и собственное государство, и своих советских хозяев? Не совсем так.

На украденной у меня моей родине после такого афронта русский резидент больше бы не высовывался. А если бы пришлось, то лишь по «просьбе» своих интеллигентных хозяев и по их сценарию. Не сомневался, что то же случилось бы и с японскими джентльменами удачи. И не ошибся. Знающий и понимающий всё Ясуо, с которым приговорен я был к повседневному общению, раскрыл «секрет»: все Программы СМИ по освещению вашего визита построены на ваших беседах с Тацуро. Переделка их вряд ли целесообразна сейчас.

Ничего, движения Катакура–сан возле меня почти не раздражали. И, конечно, было очень жаль его испоганенной жизни…

… Посольство государства Израиль…

Глухие бетонные стены. Поверх — бесконечные спирали колючки. Выносные «Марсианские» вышки со щелями амбразур… «Спецкичман»…

Опрос у внешнего входа–лаза. Допрос и шмон в конце длинной, сплющенной бетонными шорами, «трубы» подхода. Бронедвери за сталью плит…

И тесненькая лестничка, по которой встретивший нас первый секретарь Амос Радиан выводит меня, Ясуо, Катакура–сан, теле-и пресс–репортёров в его кабинетик–закуток. Сходу — попытка секретаря извиниться за «дурацкие фантазии» шефа. Делаю вид, что понятия не имею, об чём речь. Понимает. Доволен. Ясуо переводит. Замечает: — А представителей СМИ Израиля нет! — Амос молчит. Выручает подсекретарь: — Его превосходительство…

По лесенкам, анфиладами забитых «имуществом» комнатёнок, пробираемся к резиденции посла. Интересно: ни в одной из них никого нет! Точно, как в конторах Иерусалима в «рабочее» время. Ментальность…

И так, посол.

Навстречу, из кресел, поднимается высокий старик. Ветхий; серо–коричневый неопрятный костюм. В крошках. Крошки прилипли к уголкам синюшных губ. К кончику… банана белого, с сине–сизым тяжелого носа… Но это детали… Протягивает ватную ручку, неслышно пожимает ею наши… Выплеск скороговорки. Найто–сан переводит. Внезапно встревает Тацуро. Настораживаюсь… Но тут же догадываюсь — да и Ясуо на месте — Катакура–сан напоминает господину послу о его бестактной

попытке опорочить меня в глазах моих японских друзей. — Так, Катакура–сан! Так, молодчик! Пиль его!

Найто–сан с удовольствием, слово в слово, переводит: и ему приятно отхлестать старика… Но… это уже становится очень неприятным мне: каким бы в моих глазах, и в глазах моих друзей–японцев, ни был бы он подонком, — он — Нахум Эшколь — гражданин моей страны! Со своей собственной, естественно, манерой поведения, но и с присущими нам всем — евреям — особенностями зоопсихологии, что ли…

Кроме того, — и для меня это обстоятельство очень важно, — безусловно он — родич уважаемого в моей стране человека — Леви Эшколя, именем которого назван проспект–бульвар, пересекающий мою улицу — Шмуэль га'нави. Наконец, — по анекдоту, — «Быть может у нас у Менске Нахум Эшколь — говно! Но у нас Леви Эшколь — Человек!». Так вот, Нахум Эшколь — родственник Леви. Потому Нахум посол и ещё в Японии. Это и определяет моё отношение к нему. Тихо прошу Ясуо заткнуться… «Счастье, когда тебя понимают!»: — «затыкается».

Сели. Расположились за столиком, — тоже неопрятным и неубранным… Явно неубираемым столиком. Тут представилось, — и почему–то с болью, — не нужен никому этот неухоженный и, верно, третируемый чиновной шушерой несчастный старик. Потому некому стряхнуть перхоть с его плеч. Некому вытереть пыль и убрать мусор с его столика. И, безусловно, некому было из «советников» отсоветовать звонить моим друзьям и выяснять у них цвет моего белья. Точно! — некому было… даже ЗВОНИТЬ им!

Сплавили старика за тридевять земель и бросили в «тюряге» посольства. Чтобы не мельтешил перед глазами. Чтобы не напоминал, что, — какой ни какой, — брат всё же самого Леви…

А он говорил, говорил…

Хотел, видно, выговориться. Но выговаривалась шелуха. И Ясуо никак не мог обернуть её смыслом. Попытался, было, встрять в словесный водопад, «напомнить» его превосходительству господину послу на каком тот свете. Не получилось. Тогда он Нахума за руку взял. И когда тот, удивлённый, на минуту смолк, сказал, что перед ним — «Герой Японии, — его, посла, согражданин!» И что «герой» этот имеет что передать своему израильскому народу через него, посла; хотя бы самые дружеские помыслы /так и сказал!/ Японцев, осведомленных о национальной принадлежности Додин–сан'а… И, что очень странно, — и что настораживает Японские СМИ, — что такое событие — первое не только в истории молодого Еврейского государства, но в тысячелетиях жизни Японии — что

событие это не привлекает внимания СМИ Израиля! Или правы те, кто считает, что вашему народу интересны «сенсации» с запахами сортира и борделя? Похвально!

Посол не ответил. Не слышал, что говорил ему Найто–сан?

Потом Ясуо сознался: захотелось ему спросить «его превосходительство»: не из Москвы ли приказ, выполняя который опозорил он себя и страну, которую представляет? И что будет ему за исполнительность? «Знак почёта»? Приглашение внукам в Высшую школу КГБ для «детишек» зарубежных Партайгеноссе? Само собой разумеется, за счёт обираемого российского налогоплательщика. Вот ведь уже с полстолетия приглашают особо отличивпшхся и из Израиля… Или не из Москвы команда, — из иерусалимского МИД, от прямого и непосредственного начальства? О котором — не только что на столичном рынке, — во всех газетах мира треплются, что оно — сплошь кагебешная агентура?… Не спросил — меня постеснялся… И подумал: такого, и — послом в Японию!…

Но кончился позор: мы поднялись. Отхлопали друг друга по одежде. Он — слабенько. Я, злясь, крепко, выбив из него тучу пыли и перхоти. Тоже подумал: — в такую страну такого посла!… Стыдно — не описать…

Только расположились в «Сакура», только перекусили — звонок Ибуки: — Конничива! За вами через 30 минут заедут. — Даже на расстоянии чувствую: волнуется! И очень… — Вас одного, с пресс–атташе Найто–сан, ждёт человек, который будет безмерно счастлив увидеть Вас воочию… А знаком он с вами давно. Очень давно - /?!/…

В своём кабинете в Деловом Центре Хараджюку меня встретил очень серьёзный Ибуки–сан. Сесть не пригласил — пригласил «попробовать» вино. Вино оказалось восхитительным. Но мы лишь пригубили его. Огляделись в зеркала. Спустились в вестибюль. Вышли. Дверцы машины были открыты. Молча уселись. «Старинный» Линкольн тронулся. Через двадцать минут мы вкатились под деревянные, в стиле Фудзи–вару, низкие ворота. Машина поплыла по аллее огромного парка укутанной золотом раскидистых клёнов и иссиня–чёрными листьями гигантских вересковиц. Развернувшись, она остановилась напротив увитого голубым плющом низенького «Японского дома». Открылись дверцы. Мы вышли. Нас встретили четверо молчаливых слуг: лимонно–желтые лица, фиолетовые кимоно, белые, с бордовыми полосами, опояски, за которыми короткие мечи…

В плюще открылись тяжелые створки чёрных — в стекле и бронзе — фигурных дверей. Мы прошли в просторный холл.

Навстречу, из–за откатившихся где–то в глубине широкого коридора ширм, вышел среднего роста не старый человек. В неярком свете плошкоподобных бра и торшеров лицо его с вислыми усами и массивом бровей показалось изваянным из цветного фарфора. Подойдя, он оказался поразительно похожим на актёра, играющего в популярных американских фильмах роль учителя каратэ. Да он и был им, видимо, со своей лёгкой походкой вахутиста, в светлосерой тройке, ладно облегавшей его атлетическую фигуру. Очень молодили его голубой платок под воротом бордовой рубашки, и… белой шерсти носки на ногах.

Подойдя, он остановился. Тёмные глаза его под мощными дугами надбровий в упор глядели в мои… Я почему–то подумал: он вышел из древней фрески, и лицо его впитало всё, что по моим понятиям определяло классический японский тип… Да, — он из глубин веков — лоб стеною, причёска…

А он всё стоял молча… Смотрел всё так же — внимательно, пристально.

Поклонившись, Масару Ибуки представил меня, назвав имя…

Серия церемонных поклонов…

После паузы, поклонившись вновь, Масару назвал мне имя встречавшего: господин Эйширо со–но–идасо Ивасаки Кобаяси… Мы снова поклонились друг другу… И тут только понял — по каменной неподвижности побледневшего Ясуо Найто, по совершенно не идущей Масару Ибуки скованности и… подобострастности /?!/ - передо мною стоял могущественнейший и один из самых состоятельнейших граждан мира член семьи Ивасаки!… Но… Мне–то, ко мне всё это — какое значение это имя имеет для меня? Однако, из–за геральдического флёра этого человека, пусть самого что ни на есть знаменитого, — я не уловил «гражданского» имени его… Оно, как бы, прозвучало… Но я его… не узнал…

… И вот вдруг: — Я отец Соошио Кобаяси… — На одном дыхании, эхом, перевёл Ясуо… Лицо Эйширо каменно–недвижно… Понимая, правильно истолковывая моё молчание, — а оно — шок из–за услышанного мною только его имени, — он произносит вновь, втолковывая, как глухому:

— Я отец Хироси Кобаяси… — Слова–эти мгновенно повторяет Ясуо… И шепотом — тихо: — капитан конвоя императора…

Тут, наконец, понял и я, что говорит стоящий передо мною человек, за чем привели меня к нему, и что нужно что–то сказать. Но что сказать–то? Или… никогда сам он не видел, не переживал явей, куда как страшнее тех, что свалились на бедного сына его? Или, что произошло с Соошио[1] было самым страшным

собственно моим воспоминанием?… Тогда… почему же голова кружится? И шатает меня почему? Да так шатает, что и Эйширо замечает и берёт меня за плечи… Я успокаиваюсь, ощущая, как волнами истекает от него ледяная свежесть… Вообще, он весь, будто со льдом чаша — холоден. И, словно зимний лес, источает кислород. Но не стальная твёрдость маленьких его рук, и даже не дыхание сосен под снегом, идущее от него, отрезвляет меня. Отрезвляет мощь его стоического спокойствия, постепенно передающегося мне….

— Додин–сан! Что же вы молчите?!

— Молчу почему?…Собираюсь с мыслями… — А что сказать мне Вам, Отцу Сына, — Вам, со–но–идасо Ивасаки–сан?!… И есть ли слова, которыми можно что–то сказать?… Хотя, конечно, они найдутся — всё те же изжеванные, пустые, стёртые напрочь дежурные слова. Но Вам ли они нужны — Рыцарю, Самураю императора?… И всё же, и всё же, я Вам скажу, — Ивасаки–сан: Подвиг бегства Его и Хироси Ямамото, друга Соошио из плена есть ещё одна героическая страница Японского Эпоса Исю. И умер Ваш сын достойно, как полагается умереть человеку. Главное: он умер, — пусть в муках, — окруженный истинными друзьями, верными товарищами, которые успели нежно и искренне его полюбить. Не это ли счастье.., мой Эйширо–сан?!

… Высказался. Нашел слова…И… ничуть не передёрнуло от «выспренности» моего монолога. Да! Только доброе сердце Аркаши Тычкина, Забайкальского казака, мальчишкой, при истязаемой мерзавцами семье, сосланного «навечно» в Приангарье «расказачиванием» и «раскулачкою» 1929 года, только доброе сердце его «заметило» гибнувших беглецов и пришло им на помощь. И только доброе сердце Миши Соседова, «чалдона» Удерейского, потомственного приискателя и охотника–добытчика заставило его шастать по непроходимой тайге за «ёдовом» и охотничьими «поимками» для японцев, рубить сушняк и готовить им дров на долгую зиму. И только очень доброе сердце Нины Кринке—Адлерберг, дочери Великих Российских аристократов и немца–колониста с Украины, сосланных тогда же, в 1929 году, и на 26–м месяце пути родивших её в телячьем вагоне ссыльной навек. Только очень доброе сердце её и руки добрые, с младенчества делавшие нелёгкую работу выживания! Вот это сердце и добрые руки Нины когда Соошио столкнулся, однажды, с медведем–убийцей они выложились…И зависящее от них, и не только от них, делали, чтобы спасти смертельно раненого Соошио Кобаяси…

Спасти не получилось: раны, нанесенные зверем, медленно убили его…

Между тем, были у этих добросердечных людей собственные свои заботы. Куда как более близкие им, очень не лёгкие, и безотлагательные совершено: тяжкий, по двенадцать часов, труд на лесосеке, на дальних шурфах, а после — добыча пищи, воды, топлива, тепла, — заботы выживания. Да ещё при том, что их добросердечие чревато было для каждого из них яростным и злобным преследованием преступной властью. Неотвратимой угрозой благополучию, так дорого, с таким усилием доставшемуся. Потерей свободы, имущества, самой жизни…

Не потому ли вырвались у меня… тоже слова: «истинными друзьями», «верными товарищами», «искренне любящими». Точными их понятиями с младенчества проверял я истинность, верность и искренность человеческую. И не ошибался. Потому как рано понял мироразрушительную подлость Четвёртой заповеди: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле…» Тычкин, Соседов, вообще, все, кто по–человечески почитал Хироси и Усиро, спасая их, — не отцов своих и даже не матерей, — они стоимость услуг по почитанию японцев с продлением дней своих не соотносили. Не потому, конечно, что не тряслись годами над священным писанием, и из–за этого не знали ни самой «божественной» рекомендации почитать родителей своих за мзду «продления дней», ни, тем более что сие — гнусность. Но почитали и спасали чужих им бедствующих людей по изначальному, от своих родителей унаследованному добросердечию. Чего, между прочим, у авторов заповеди никак не получилось бы за отсутствием такого наследства… У них иная информация передаётся от отца к сыну. Иные ценности переполняют генетические коды детородного их семени…

… Да, Тычкин и Соседов — люди. А Нина… Она и вовсе святая…

— Так же думаю о ней и я… О ней рассказывал, светлой памяти, Хироси Ямамото… Я знаю, что сделала эта замечательная девушка для сына стоявшего передо мною человека. Знаю и то, что стоили ей ночи и дни — месяцами — у постели растерзанного зверем моего Соошио…

- - Ивасаки–сан замолк. Стиснул пальцы рук. Замер… — Я все знаю о ней. Только, вот о её происхождении ничего толком не слышал… Я хочу знать подробности… —

— Он снова смолк. Легким движением руки подозвал слуг. Тотчас, как когда–то на сцене булгаковского варьете, «соткалось» за спиной его кресло… «Немолодой» атлет — он пошатнулся, вдруг. И тяжело, будто выдохшись, опустился в него… Разговор, сама встреча, утомили старика — старика!: нужно было срочно заканчивать визит. Я взглянул на Масару… Он был явно

растерян… Он не имел представления, или не мог позволить себе решиться, как поступить… Видимо, со–но–идасо Ивасаки–сан приучил Японию: — всем распоряжается только он сам!…

Двое, в кимоно и с короткими мечами за опоясками, наклонились к старику. Я услышал хруст вскрываемой ампулы… Так же внезапно и молча, как появились, они исчезли… Он глубоко и покойно вздохнул. Спросил:

— Что сталось с той девушкой?

— Она жена мне…

… Когда опустилась ночь над Китаномару, над Токио, над Японией, он уснул в широком деревянном кресле, троном стоявшем на возвышенности под огромными соснами. Звенели в траве цикады. Ухали во тьме огромного парка совы. Со стороны королевского дворца плыла тихая музыка. Из–за длинного пруда, из–за светящихся в лунном сиянии деревьев чуть слышно дышал город. Порывами налетал бриз — то ли запоздавший дневной, то ли ночной, рано спохватившись. Он разбрасывал запахи лаванды и диких роз. Терпкий дух хвои, разогретой дневным солнцем, стлался по–над можжевеловыми зарослями. Перебивая ароматы руками человеческими возделанных садов, неколебимо висел над парком смоляной дух соснового леса…

Только временами ветер с юго–востока приносил солёные брызги океана. Старик спал. И даже во сне крепко, будто боясь потерять, держал мою руку… Несколькими часами прежде он отпустил Масару и Ясуо. Провёл меня в свои покои. Отошел на несколько минут. Явился в чёрном, с белыми кантами, кимоно. При мне опоясал его серым шарфом. Приказал подать чай.

Когда слуги удалились, я пригубил чашку… И тут заметил на стене, под большим мечом, вставленный в роскошную, видимо, шведской работы, резную сизую раму, карандашный портрет — того, сорокалетней давности, ещё измотанного пережитыми страданиями, но уже понявшего, что ему — жить!… Здесь, в этом древнем дворце за тридевять земель от лесов Оймолона, он воспринимался загадочно. И за загадкой я не сразу сообразил, что портрет–то — он мой, сделанный в зимовьи у Борёмы…

Это был один из последней серии портретов, что я начал делать ещё в Бутырках, «набивая руку» и заставляя себя навсегда запоминать чем–то привлёкших моё внимание товарищей по камерам. Понимая, естественно, что так может случиться, — изображение, мною выполненное, окажется последним отсветом души кому–то самого дорогого человека. Я помнил всегда, и до смерти не забуду, как ночами рыдал безутешно в сиротскую подушку своей детдомовской койки — звал маму и папу… И захлебываясь слезами, просил их «прислать хоть какой рисуночек

их лиц», которые вдруг, — подумать страшно, — начинал забывать…

Видимо, вот эти вот постоянно истязавшие меня страхи забыть лица моих родителей, братика, прабабушки моей, — они ещё тогда и впервые привели к мысли научиться самому изображать моих товарищей по Детдому. Но не только рисовать их лица, но помогать переправлять портретики на волю. Куда–то туда, где их ждут, как ждал и я сам, надеясь именно в один прекрасный день узнать на них изображения родных лиц…

Здесь, в Японии, должно быть не мало портретов моих японских соседей по Комсомольским и Братским баракам. Должно быть, но… Может и не быть: пьяная вечно харя злобствующего на весь мир российского чиновника маячила над трепетной душонкой убывающего в свою Японию военнопленного. И, если уж она, в классическом обличий Ваньки Кутерьмы, сладострастно пакостила своим во граде Китеже, можно себе представить, что измысливала она чужаку, да ещё абсолютно беззащитному перед её произволом!

Одно из бесчисленных свидетельств вот этого вот русского мерзопакостничества, вообще–то совершенно несвойственного простому русскому нечиновному человеку — письмо ко мне Катакура–сан от 26 декабря 1990 года;. В нём он бесхитростно повествует: «… В Братске Вы написали мой портрет и дали мне. Это было совершенная копия моя. Я уважил и часто любовался. Это я сохранил в мешке. Выдержал неоднократных этапов, это было всегда со мною, до тех пор пока я был перевезен к порт НАХОТКА где японский пороход стоял в порту. Подлежащее порта проверил моё мешок, и не оставил портрет в мешке. Это был апреля 1955…» Японец, всё же: не написал, что портрет отмели.

Вот бы встретиться с теми, кто портреты сохранил. С ними, или, хотя–бы, с их детьми, с близкими: вернисажик получился бы знатный!

… — Вот — Старик кивнул на портрет Соошио… — Вот — Ничего больше он не произнёс. Присел, тяжко, сломавшись, на татами… Заплакал…

Закрытые глаза его были сухи. Только плечи вздрагивали…

А я, будто это не явь, а сон, видение, «вспоминал» его полным генералом Императорской армии, идущим рядом с его запылённым, в грязи утопающим гусеницами, командирским танком. На нём прорвался он сквозь горы несчастных китайцев. И, разрубив Китай пополам по дороге к вот уже совсем близкой Индии — цели великого похода, ворвался 7 марта 1942 года в Рангун, столицу Бирмы…

И тут–то, на центральной улице города, у муниципального Дворца, поднял его над завоёванной им землёю взрыв…

… Конечно, тогда, в полевом госпитале в предместье бирманской столицы, очнувшись уже на операционном столе, генерал Эйшио со–но–идасо Ивасаки Кобаяси не плакал, как не плакал никогда. Быть может, только в младенчестве. И то — от обиды, наверно. А теперь плачет перед чужаком… При своих–то он не заплачет!…

После того, как отпустил он Масару Ибуки и Ясуо Найто, прошло много минут молчания. И вдруг он заговорил — по–русски! Он, оказывается, лингвист. Специально русской литературой и языком не занимался, — изучил попутно, «исправляя» должность посланника при правительствах Восточно—Европейских стран. Сколько языков он знает? Много. Но всё же? Хорошо — шестнадцать. Плохо — этих не считал…

— Почему вы не привезли её? — спросил, неожиданно.

— Она решила не ехать: не с кем было оставить трёх наших внуков. Их родители довольно благополучно вживаются в новую для них жизнь. Но им нужно заниматься языком, — для них совершенно незнакомым. Ну… И работать… Без языка, естественно, и… не по их специальности. Это отнимает время даже у сна и детей. Словом, Нина и в Иерусалиме НИНА. Она — человек долга. На таких людях, как Нина, держится мир…

— Простите, — вдруг перебил он. — У вас с собою реквизиты её личного банковского счёта?… А их надо знать, молодой человек… Позвоните…

— Вам–то они зачем? Тем более, никакого счёта у неё нет!

— Они нужны мне. Позвоните и попросите Нину–тян срочно открыть свой счёт и сообщить мне по этому вот факсу его номер. Пожалуйста!

— Но в этом нет необходимости.

— Судить не вам, Додин–сан…

Помолчав, спросил, почему мои товарищи оказали такую чреватую неприятностями услугу сыну и его другу? Общегуманные предпосылки ясны. Но в их подвиге, — а в те времена, я знаю, это был подвиг, — многое непонятно… Объясните.

— О подвиге говорить не стоит: требование собственной совести есть субстанция, в понятие геройства не вписывающаяся. Обычное сострадание в своё время переживших собственную трагедию. Конечно же, солидарность с теми, кто противостоял большевизму. А ваш сын и его товарищ противостояли ему самим фактом побега. Они открыто осудили этим своим действием ненавистный и им, японцам, режим. Как ненавидели его Тычкин,

Соседов, братья Кринке, — отец и дядька Нины, и ваш покорный слуга. Режим, загнавший нас всех в ссылку. И противодействие этому режиму, — а спасение и сокрытие беглецов — тоже акт сопротивления, — было нашим первейшим долгом перед миллионами погубленных им россиян. И не россиян тоже.

— А Нина? Ей, только начавшей жизнь, тем более в неволе, ей–то зачем ввязываться было в чреватую неприятностями борьбу, в политику? По рассказам друга — Ямамото она, до нападения зверя на моего сына, ничего про Соошио не знала. Даже понятия не имела, что такой существует! Почему же эта девушка бросилась его спасать?

— Она выросла в семье, где друг другу помогали выживать! Семью неназойливо уничтожали, а она не поддавалась. А ведь Нине — старшей — нужно было вытягивать на себе маленьких. Спасать их. Она и выросла спасателем.

… Беседа с гостеприимнымстариком внезапно прерывается факсом из Москвы: статья «Заготовил ли Израиль…» в какой–то заштатной русской газетёночке. Автор, Яков Сусленский, сообщает:

«… Израильское правительство старается «не пущать» советских евреев в Америку…» И далее: «Алия /эмиграция/ … используется главным образом как средство пропаганды и вымогательства….». Наконец: «…. Кто дал Шамиру и Пересу право оперативным путём насильственно обращать евреев по паспорту в евреев–израильтян?, как у нацистов: собрать и… всех разом оцепить…!»?

Тема для Израиля не новая. Эмигрирует в маленькую страну огромная масса специалистов. И микроскопическое государство, как бы его апологеты не раздували его имидж, такое количество образованных иммигрантов трудоустроить не может: сопротивляются яростно уже устроенные, давно оплатившие свои места, и даже авансировавшие их для своих наследников; сопротивляется управленческая кодла, стараясь и в будущем не допустить даже намёка на конкуренцию; конечно, ничего не может поделать и порядочная часть аппарата управления: не планировать же ставки специалистов, многократно превышающие все мыслимые нужды общества?!

Особо сложна проблема медиков, судьба которых нам небезразлична. Их, в полном, смысле этого слова, нужно спасать! Ни на день не оставлять без работы по специальности, и, по возможности, беречь их нервы. Они же, чёрт подери, сами спасатели!

Слава Богу, у нашего Фонда есть средства и годами наработанный опыт их трудоустройства. Тут же, из кабинета, со–

но–идасо Ивасаки Кобаяси, посылаю факс доктору Жаку Ли в Институт Мартина Гердта, одному из распорядителей «Фонда Ливермор'а» /«Врачи — без границ»/. Ещё факс в Москву Разумовскому с распоряжением о предварительном расчёте с «Толстовцами»;. И ещё один — в Медицинскую Группу Фонда: немедленно связаться с Бахарчиевым! Перенаправить отъезжающих медиков в Вену к Бергманну, а уже прибывших в Израиль хирургов «скорой» и анестезиологов, — в Осло, к Улафу Бергу. Материалы на Сусленского я тоже запросил.

… А старик не отпускал, — ломал, тем самым, все пересоздаваемые заново программы моего визита. Я-то состояние его понимал! Он, как чудом оказавшуюся в руках у него дорогую фотографию, «держал» перед собою меня живым отражением, или даже воплощением, своего давно потерянного сына. Это для меня было невыносимо: я ведь тоже «носил» в себе изображение Соошио Кобаяси. Только ещё более трагическое, или, чего там, куда как более страшное, чем виртуальным зрением мог видеть сына его отец. Во всех наших с ним долгих беседах он — нет–нет — не заставлял, но очень корректно просил меня ещё и ещё раз «напомнить» ему отдельные эпизоды, — даже самые, казалось бы, незначительные, — таёжной жизни сына. Он так же дотошно интересовался каждым человеком, вошедшим когда–то в соприкосновение с Соошио, пусть даже было это кратеньким эпизодом, в принципе, ничего не означавшим. Он расспрашивал об их судьбе, об их семьях, о их работе, — работе кормящей, и как кормит она. О достатке семьи… Особенно интересовался он жизнью жен и детей. Не совсем понятен был его этот пытливый интерес. Только позднее дошло: ему необходимо знать состояние дел людей, породнившихся с его сыном самим фактом наказуемого режимом Сталина участия их в судьбах преследуемых властями японцев. С его сыном, никакой возможности не имевшим тогда хоть чем–то отблагодарить мужественных и бескорыстных, но бедных людей.

Мне остаётся сказать: за своего сына, и за умершего у себя, в Японии, его друга это сделал отец Соошио Хироси. Сделал широко и щедро, счастливо развернув судьбы многих моих друзей, товарищей и просто знакомых мне таёжников. Тех даже, кто только знал о беглецах, но не удосужился, или не догадался им помочь, но не предал… Главное, не предал…

Я узнал об этом, посетив в 1993 году свою Удерею, хотя кое–что стало известно мне сразу по возвращении, в Иерусалиме. Дней за пять перед отлётом домой, в конце ноября, снова навестил моего старика. Тогда–то он и сказал: — Я хочу её видеть, Додин–сан.

— Да увидите, — какие ваши годы!

… За полтора месяца, что провёл я в Японии осенью 1991 года, со–но–идасо Ивасаки–сан принимал меня множество раз. Общение с этим удивительно цельным, безусловно суровым, но добрым ко мне человеком даром не прошло: я полюбил его. И теперь шуткой пытался уберечь себя от чреватой сердечной болью взволнованности предстоявшим расставанием. Видно же было: его почтенный возраст не вселял больших надежд на новую встречу, пусть даже очень скорую.

— Какие мои годы, говорите?… Годы мои, дорогой мой мальчик, вот уже сто третьи… — Ни тени стариковского кокетства не почувствовал в словах его. Только трагическую грусть человека, пережившего любимых…

— Теперь нужно достойно завершить: неудавшуюся судьбу…

И это у него–то, у Первого Самурая Хирохито, не удалась судьба? — подумал я.

— Для меня — это увидеть вашу Нину… — И тогда уже уйти…

Нину увидел и, как любимую дочь, принял он в декабре того же года. О трёхнедельном пребывании нашем в его домах, а потом в местах его жизни на Островах, которые мы с Ниной и с ним, прощавшимся с его миром, тогда объехали, рассказывать не буду. Это -как вслух читать интимный дневник. Останавливались только в апартаментах «досточтимой Ониши–тян» — покойной супруги со–но–идасо Ивасаки Кобаяси. А ведь они — эти уголки их тихих домов–дворцов, плавающих в лазоревых туманах парков и лесов Утренней Японии — они Святилищами были все 36 лет с того дня, когда явившийся в их токийский Дом друг Соошио — Ямамото сообщил им о смерти их сына, и сердце Ониши не вынесло…

До нашего с Ниной посещения их уголки те были с того часа неприкасаемыми. Тогда мы и услыхали: «Они — твоё, Нина, наследие. Твоё законное и непременное место… Когда уйду я…»

Он ушел 2 марта 1993 года… Ушел, омывшись в купели Аматерасу. Одарив старых слуг. Ушел, освященный традицией предков, — вспоров движением меча живую плоть…

Но это — потом, потом…

* * *

Часть 2

… Повторяя и повторяя бесконечно имена погибших товарищей моих, звучавшие горным эхом, словно припев к Песне Ночи, досточтимый Окане–сан трубным голосом, истекающим будто из Недр Земных, сопровождал соло Накамару… И было, как флейта с гобоем, под шелест ветра в макушках чёрных сосен… А всё вместе — Божественно прекрасная Церемония Скорби, уносящая ещё живых в Мир Покоя и Тишины.;

… Непозволительно забежал вперёд!

Но на самом деле идёт всё ещё только первая неделя визита. И по блокноту оруженосца моего Ясуо Найто всего–то воскресенье, 6 октября. Проходят встречи в моей резиденции «Сакура». Потом в Муниципалитете Токио с будущим премьером Хата Тсутоми и его товарищем Хосокава Морихито. Встреча с министрами в Акасака Империал Гарден. Потом пресс–конференция со СМИ по итогам субботней встречи…

Не слишком ли много шумихи? В конце концов, я частное лицо. И мне бы встретиться с моими друзьями. Обещано. «Но позднее!» — сказал Найто–сан. Зато вечер был чуден: мы провели его в семье Макико Окуда и Юри Якимине. Маленький, в два этажа, домик на тихой улочке старого Токио. Район традиционных '"отдохновений», маленьких харчевен, уютных ресторанчиков, небольших — «не знатных» — синдуистских кумирен и миниатюрных кладбищ в тенистых парках, плотно заставленных совершенно разными, но удивительно соразмерными — хоть и всевозможных стилей — саркофагами–надгробиями…

Мне рассказывают, походя, о тех, чей пепел покоится в крохотных урнах, увитых плющом и ветвистыми лианами. Всё вместе — имею в виду интерьер кладбищ — сказочно. Но ощущения «Града могил» нет. А есть реалия скверика, созданного Природой и… облагороженного влюблённым в Неё Человеком… И через скверик — улочка, — пешеходная дорожка… к станции метро…

Совершенно иные чувства рождаются прогулками по «улицам» меж домов. Сперва кажется, что — тоже — движешься по удивительному, смастерённому гномиками игрушечному городку. И ты, естественно, восхищаешься изобретательностью японских троллей, сотворивших это чудо. Да и как не любоваться маленькими аккуратными домиками, собранными из не очень понятных, но, безусловно, деревянных конструкций. Аккуратными окнами их с жалюзи, обязательно обрамлёнными удивительных

расцветок вьющимися растениями, неизвестными мне совершенно. Покрытые чешуйчатыми «фартучками» цоколи, защищенные этим нехитрым приспособлением от проносящихся по узким улочкам потоков ливневой воды при нескончаемых тайфунах и грозах. Украшенные водостоками, снабженными распылителями, чтобы прохожий в водяное ненастье не попал бы под водопад… И ветвистые деревья, многих из которых не знаю и назвать не могу, создают — вкупе с чешуёю домиков — совершенно волшебную атмосферу защищённости живущего в этом городе Человека! Защищённости от зноя, от холода, от дождей, от ураганов, наконец, от постоянных трясений Земли! Что самое страшное землетрясение может сделать с домиком из брусков, обрамлённым деревянными щитами и начинённым промасленной бумагой или самодельной васей перегородками–ширмами? Да ничего, ровным счётом. Вот, что значит оберегаемая тысячелетия традиция… хотя бы, возведения жилища!

Только мне страшно.

Четверть века назад попала мне в руки книга Девида Эрвинга «Разрушение Дрездена» /Американское Издательство Холт, Райнгардт и Уинстон. Нью—Йорк, 1964 г./. И теперь, двигаясь по улочке обречённого города, вижу не череду домиков, но бесконечный, как сам Токио, Погребальный Костёр, заполненный миллионами ещё живых, ещё не знающих, что их ждёт людей. «Я глубоко сожалею, — пишет в предисловии к книге Маршал Сондби, генерал–американец, — что бомбардировочная авиация США и Великобритании при налёте убила 135 тысяч жителей Дрездена…» Что же, европейцев следует и пожалеть. Не то с азиатами. «В ночь на 9 марта 1945 года при налёте на Токио тяжелых американских бомбардировщиков, сбросивших зажигательные и фугасные бомбы, погибло сто восемьдесят три тысячи семьсот девяносто три человека… Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, убила семьдесят одну тысячу триста семьдесят девять человек…» Так–то вот…

Без извинительных экивоков и фальшивых сожалений.

Ненароком вспомнились лица давно ушедших в иной мир моих коллег — ветеранов Второй мировой войны. До самого их конца эти когда–то большие военачальники, — до моей лаборатории «начинжи» корпусов, армий и даже фронтов, а потом начальники инженерных управлений округов и самого Министерства обороны, — они искренне верили, что были участниками «великой отечественной войны» /«шутниками» из ПУРККА облаянной… аббревиатурой «ВОВ» — ВОВ! ВОВ!/. И победили Гитлера кутузовской стратегией Верховного и

суворовской тактикой маршалов, завалив немца трупами миллионов русских мужиков. При этом глубоко были убеждены, что победили Гитлера ОНИ, но ни в коем случае, не «союзнички». И так отошли в мир иной, не узнав, кто именно, и как одержал за них победу в 1945–м.

Убеждён, книги, подобные «Разрушению Дрездена», заставили бы задуматься моих ветеранов. Возможно, что–то раскрыл бы им город–кострище. Вот только… зачем? Счастлив, кто ушел, уверенный в своей правоте…

Журнал «Новое время», орган МИД России. № 1, январь 1944 года:

«… Кончился 1943 год, который войдёт ярчайшей главой в летопись великой борьбы свободолюбивых (мне это напоминает ВАРЕНЬЕ ЛЮБИМЫХ!) народов против немецко–фашистских захватчиков… В истекшем году не только немецко–фашистские головорезы на фронте, но и население Германии почувствовало на своей собственной шкуре обжигающее дыхание современной войны. Бомбёжка промышленных центров Германии англо–американской авиацией достигла небывалой силы. Немцы у себя дома увидели то, что с сатанинской злобой готовили и принесли миролюбивым народам Европы: сметённые плотины гидростанций, и водохранилищ, освободившие всеразрушающие моря воды, превращенные в груды камня и арматуры предприятия, дымящиеся развалины городов, огонь и смерть…»

Цитировавшееся выше введение в книгу «Разрушение Дрездена»:

«…Санкционировавшие эти налёты /на Дрезден, в частности. В. Д./ были слишком далеки от суровой реальности военных действий, чтобы хотя бы частично уяснить себе чудовищную разрушительную силу воздушных бомбёжек, начавшихся весенними ночами 1943 года и приведших к концу 1944 к гибели более двухсот тысяч человек гражданского населения в каждом из массовых налётов…»

Из Донесения разведки штаба 1–го Белорусского фронта. 1 мая 1945 года. Арх. Г. С. Иссерсона. АГШ Вооруженных Сил СССР. ЦАМО. Ф.8. ГШ. Оп. 29126, д. 162. Л.92.:

«… 1. /…/ За 11 суток — с 11–го по 22–е марта 1945 года — американская авиация выполнила около тридцати девяти тысяч самолёто–вылетов тяжелых бомбардировщиков, двадцати семи тысяч средних бомбардировщиков и восьмидесяти семи тысяч истребителей /на подавление действий потенциально сохранившейся ПВО, малых подвижных и живых целей/. В результате на правобережьи Рейна погибли, до того неизвестно как сохранившиеся, 2,3 миллиона солдат и гражданских лиц,

были доразрушены все промышленные предприятия, а также уже числящиеся пораженными оборонительные сооружения на глубину 150 – 210 километров и более 280 километров по фронту.

В ночь предполагавшегося форсирования Рейна — 28 марта 1945 года — одиннадцать тысяч тяжелых американских «Летающих крепостей» и английских «Ланкастеров» смели на всю отмеченную глубину и ширину фронта все завалы и всё живое, что могло появиться на этой территории за сутки после одиннадцатидневной «обработки». Сопротивляться наступлению англо–американских войск с Запада было некому. Солдаты 3–й, 8–й и 11–й американских воздушно–десантных армий, сброшенных для «подавления противника» в «обработанную зону» Рура на парашютах и планерах, не встретили ни одного живого человека, и им отдана была команда: сложить парашюты и ждать грузовиков. Танковые части 1–й, 3–й и 9–й американских армий со скоростью 40 км в час двигались мимо них через мёртвый Рур на Восток.

В этот же день началась массовая повсеместная сдача в плен немецких частей, уцелевших за пределами «обработанной зоны» Рура, попавших в гигантский котёл между Северной и Южной колоннами американских армий, обтекавших эту пустыню правобережья Рейна…

Через пять часов после приказа Монтгомери генерал–адмиралу германских войск Фридебургу и генерал–лейтенанту Кинцелю немедленно подписать безоговорочную капитуляцию, американские армии достигли условной границы на линии Висмар—Шверин, к которой с Востока выходили войска 1–го Белорусского фронта…»

Японцами безоговорочная капитуляция подписана была тотчас после бомбёжек 6–го августа 1945 года Хиросимы и 9–го августа — Нагасаки. Конечно, это были воздушные атаки не миллионами фугасок, сброшенных на Германию с весны 1943 по весну 1945 и покончивших с нею. Японии же хватило и двух ударов всего лишь только двумя атомными бомбами, чтобы Хирохито немедля распорядился прекратить все военные действия армии и флота: он «догадался»: бомбы — не последние и не самые страшные…

Между прочим, и «Рурская» операция 11 – 22 марта 1945 года американских Военно—Воздушных сил, проведенная по команде Дуайта Эйзенхауэра для сокрушения противника, сыграла ещё и роль отрезвляющего душа для разгорячённых «берлинской викторией» голов советских военачальников во главе с их генералиссимусом. Эти стратеги взаправду убедили и себя и свой

народ, что именно они, а не союзники, победили Гитлера. Победили, уложив для того, — в не нужной и совершенно бессмысленной баталии за УЖЕ поверженную германскую столицу, превращенную в руины, окруженную и беспомощную, — 372 тысячи всё тех же несчастных российских солдат и офицеров. И в наступательном раже вознамерились было неожиданной для союзников: «молниеносной атакой осуществить освобождение всех народов всей Европы»!

Не слабо!

Только «молниеносный» же демарш Василевского и Рокоссовского пресёк эту так долго и тщательно вынашиваемую химеру, за которую, однажды, — а именно 22 июня 1941 года, — всех их — нещадно и позорно — выпорол Гитлер.

Рокоссовский и Василевский оказались не менее догадливыми, чем Император Японии…

… Вот в такие вот «исторические дебри» завело меня лицезрение беззащитных домиков старого токийского района Сугинами у станции метро Синкоенджи близ одной из Центральных мэрий города — Синджуки…

… Дом Макико–тян и Юри оказался типичным и традиционным. Дядя Макико Джотару Конеко сказал:

— Они счастливые! Их дом почти в самом центре города, в нескольких минутах пешего хода от метро, и еще в десяти езды до Сунджуки!…

Дом небольшой, деревянный. Его стены, окна и двери раздвижные. Под массивными коврами во всех помещениях лежат татами — плотные толстые циновки из рисовой соломы, предохраняющие от «излишней» влажности, которая в период дождей поднимается до девяноста с лишком процентов!

На первом этаже дома холл, большая ванная комната, где кроме всего прочего есть прямоугольный высокий «бассейн». И в нём, после купания в обыкновенной ванне, семья «балдеет» в… кипятке. Как я — в «Сакура»!

Второй этаж. Здесь расположены две большие комнаты и маленький балкон. Если необходимо, холл внизу перегораживается и превращается в две комнаты. Площадь их можно увеличить, раздвинув стены коридора.

Дом забит всевозможной бытовой и видео–аудио техникой. Маленькому Такааки разрешается «пользоваться» ею как ему вздумается. Очень важное место в японском доме занимает кухня. Я испытал это на себе…

Прибежав из студии, Макико за двадцать минут наготовила Бог знает сколько блюд. Ей помогала мама Хироко. Конечно, на столе появилась жаровня с непременным скияки. Ну и… ставшая

моим любимым блюдом китайская лапша с креветочным, грибным, мясным, — и с чем–то ещё, совершенно потрясным по аромату и вкусу, — супом… Ел бы, ел бы…

Ещё я увидел: и у Макико с Юри, как и у всех, в чьих домах мне пришлось быть, в шкафчиках накапливались увеличивающиеся со дня на день вороха газет и журналов с моими интервью и изображениями. В первые дни это обилие макулатуры не раздражало. Наоборот, вызывало прежде незнакомое чувство этакой приподнятости. Однако печатная продукция напирала. И я пожаловался Макико…

— Так ведь такого на моей памяти ещё не было, — явления к нам в Японию человека, которого бы так любил, которым бы искренне, а не из–за моды или рекламы, так восхищался весь народ! — запротестовала она. — Уж это–то вы, Бэна–сан, должны понять!

Понимал. Но… привыкнуть так и не сумел.

Вскоре мы с Ясуо Найто и Хаджиме Озака, «местоблюстителем» «Киодо ньюс сервис», побывали в гостях у Наоми Родриг, представительницы «Идиот ахронот» в Японии. Мы отпустили машину и прошлись пешком по удивительно уютному району Токио Йотсуя, где среди зелени великолепных парков вкраплениями каменных драгоценностей виднелись церкви множества конфессий. Мимо нас мчались велосипедисты — сотни, быть может, тысячи…

Уютнейшая европейская квартира на третьем этаже. Тяжелая итальянская мебель. По стенам — Монэ, Дега, Кандинский… Ещё кто–то. Акварели Ясеневой /?!/, — «штучки», вообще–то, редчайшие даже в России. Вазочки. Вазы… Орешки с вином. Водичка с газом. Чай — очень умело заваренный. Сама хозяйка «вся из себя». Пустой разговор. С попыткой, однако, уяснить: кто же таки я такой? Объяснил — кто. Понял — не поверила: кем–то прочно накачана. Очень мило попрощалась. Проводила, вызвав нашу машину с атлетами, которые и… скучали и у дверей её: квартиры, и внизу в подземном гараже.

… Снова встречи в «Сакура». Снова пресс–конференция: представление прессе и телевидению Программы моего пребывания в Японии. Посещение Миссии отдела Найто–сан в «Синкей шимвун». В: гостях: у Морихиде Секи — великого мастера хроники. Он — постоянный глава «Киодо Телевижн», что днём и ночью сопровождает меня «по поручению Правительства Японии» — сказали…

Наконец, долгожданная встреча с легендарным «оператором Императора» Кейсуке Табата из «Центра теленовостей Киодо ньюс», другом Акахито, главой Цеха операторов–документалистов

Японии! Встреча короткая: с завтрашнего дня и до последней минуты на земле Японии мы с ним не расстанемся.

Ещё приём у Юджи Накайя — руководителя «Киодо ньюс сервис». И, когда я почти помирал от голода — Официальный обед в Древнем японском ресторане–клубе! Прощание с сопровождавшими меня токийцами…

И в 16.00 отбытие «Ночным спальным экспрессом» в Нагасаки. Сопровождают меня группа Ясуо Найто; телевизионные группы Морихидо Секи из «Фуджи телевижн»; «корпус» Кейсуке Табата; руководители Отделов внутренних новостей Хироши Имаи, прилетевший из Бонна для первого интервью в Западной Японии /Нагасаки/ потому, что первым в Москве увидел меня и говорил со мною; Тсуоми Сайто — московский корреспондент Синкей шимвун»; Шин Токива — главный редактор «Синкей шимвун»; Калев Накашима, руководитель Библийского семинара в Токио и Иерусалиме; Кейсуке Митцумото, руководитель группы фотографов и Юджи Накава, директор «Синкей шимвун».

Вот для этой компании и зафрахтован был двойник «Спального экспресса».

В разговорах, разглядывании проплывавших мимо окон поезда конечно же совершенно необычных для меня пейзажей окончился день, После ужина мои спутники, оставившие меня днём один–на–один с величественной природой, внутри которой летел вагон, вновь принялись за меня: их интересовала моя жизнь, но только не детали «дружбы и юности» в ГУЛАГе, а меня… — Сетонаикаи Национальный парк, сказочные острова которого уносились в ночь…

Весь следующий день просидел я у окна, вглядываясь в фермы, деревни, города Кобе, Химеджи, Окаяму, Фукуяма, Куре, Хирошима… И в волны проливов меж островами Хоншю — мы ехали по его южному берегу — и Шикоку. А в меня в это время вглядывались объективы камер… Но ночь брала своё.

… Уже начало светать. Покой наплывал синим светом ламп. Покой шел от заглушаемого добротной изоляцией перестука колёс. И я засыпаю, тотчас убегая во сне, как от конвоя, от красных точек у нацеленных в лицо камер–стволов… Но… ведь это люди Кейсуке Табата снимают фильм о нашей поездке, и мешать им нельзя… Вечером, перед постелью, я, — устав за долгий день от их съёмок, — сказал ему: — Не надо, Кейсуке… Это никому не нужно — все: это пустое мельтешение… Не надо… Бога ради!

— Надо! — После недолгой паузы ответил он. — Это нужно! Это стоит дороже всех самых красивых и важных эпизодов с кем угодно!… Главное же — вовсе не мы смотрим на вас:… Это

Япония всматривается в ваше лицо. Ей необходимо увидеть его своими глазами! —

Занятно! Но ведь те же самые слова услыхал я совсем в другом месте и вовсе не «от японца с фресок», как назвал для себя этого удивительного человека. Услыхал от шведки — дочери моего лагерного друга Магнуса Стерка, которого вечность назад несколькими «порциями» своей крови вытащил из мёртвых. Осенью 1942 года он умирал на Безымянке. Моя кровь, кусочки полугнилой рыбы, ломтики хлеба от моей пайки, — это всё, чем я мог спасти его. В то время я один способен был помочь выжить лишь одному человеку. Только! И вот, на конгрессе по строительству на Севере, ко мне подошла пожилая женщина, посмотрела в глаза, дотронулась до моей руки:

— Я Марта—Мария… Вы не можете меня знать… Не вспоминайте. Но вы были другом моего отца… Магнуса… — И заплакала беззвучно… Успокоившись, сказала: — Понимаете, я уверенна, что вы — это вы. Я очень долго искала вас. И было бы страшно, если, вдруг, это… не вы, Додин… Но это вы, вы! Отец вернулся к нам в 1956 году. Он понимал, что вам в вашей истерзанной большевиками стране тяжко… И если вы еще живы, — нет, нет, — отец убеждён был, что вы живы! Потому искал вас повсюду… Вы рассказывали ему, что у вас родные в США где–то, так он и там, в Америке, вас искал… И вот, не дожил до сегодняшнего счастливого дня ровно шести месяцев… Больно… Обидно… Но я дожила увидеть Вас! Дожила!

… Это — к вам… как будто, Додин–сан… Додин–сан! Она — будто бы к вам… — Я просыпаюсь, только–только заснув… — Ясуо трясёт меня за плечо. — Додин–сан! Это она к вам, возможно… — Кто? — Какая–то женщина, Додин–сан. — … Окончательно проснувшись, слышу тоненький женский голос… Но в вагоне только мужчины. Откуда женщина?… — Додин–сан! — повторяет Ясуо. — Додин–сан! Она к вам! Женщина требует, чтобы её пропустили к вам. Но её имени нет в Программе… Она говорит, что знает вас! Но начальник охраны… У него инструкции!…

Я быстро накинул кимоно, вышел в холл вагона…

Маленькая, и, видно, пожилая женщина около офицера конвоя умоляюще и просительно смотрит на меня. В глазах слёзы. Руки у горла…

— Простите! Но… меня зовут Матуе Матсуо…

— Матсуо?!… Вы?!…

— Да! Я — жена… Нет… Нет… Я вдова Ясунори Матсуо, вашего лагерного друга… Он не дожил до этой счастливой минуты… Он не дожил одиннадцати месяцев!… Додин–сан. —

Она заплакала навзрыд, со стоном, задыхаясь… — Он искал вас сорок лет! Он ездил вас искать и в Братск, и в Москву!… Сорок лет он искал вас, Додин–сан! Сорок лет!… А вот теперь нашла вас я…

И я искал его, моего сердечного друга Ясунори… Как искал сотни других исчезнувших… Пропавших без вести… Я и сейчас их ищу — людей, которых ждут. До сегодня! Несмотря ни на что ждут!… И буду их искать! И помнить буду до смерти своей имена их — детей человеческих из Швеции, Швейцарии, Великобритании, Эстонии, Латвии, Чехии, США… Имена детей всех народов и конфессий, пропавших без вести… И «пусть отсохнут наши правые руки», если мы позволим себе подлость копаться в пропавших, отбирая их по крови или по вере!… «Пусть отсохнут!«…

… От Шин Ивакуни, где появилась Матсуо–тян, и до платформы в Нагасаки, к которой в 9.00 утра подошел наш поезд, все мы — все до единого, кто были моими попутчиками в «Правительственном» двойнике нашего «Спального экспресса» — собрались в салоне, и слушали подругу моего покойного товарища, «имевшую» что мне, да и всем им, рассказать…

… Цветы! Стена цветов! Платформа, истекающая цветами…

… Толпа встречавших раздвинулась, пропуская вперёд среднего роста коренастого человека:

— Приветствую вас на земле города, вот уже более полутораста лет гостеприимно встречающего друзей со всего света! Но если бы даже он никого никогда и ни за что не принимал — вас, дорогой Додин–сан, он принимает как самого верного друга всего нашего народа!' -

… Он протянул мне руку… Поклонился… И вдруг опустился на колени и произнёс глухо и печально:

— Не перед вами, смертный вы человек, и не сам я преклоняю свою седую голову, но народ Японии отдаёт честь и любовь бессмертной памяти Матери вашей…

Он поднялся… Невероятный шум площади умолк… Он обнял меня… И вокруг тишина взорвалась…

— Познакомьтесь, Додан–сан, — тихо произнёс Ясуо Найто. — Познакомьтесь: мэр Нагасаки: господин Хитоши Мотошима…

… Потом была моя, в Нагасаки, резиденция «Хонсю». Посещение с Хитоши Мотошимой охранителя Храма Гошинджи досточтимого Иошияку Кицу — духовника Императора Акихито Цугониями — Дай Ниппон Тэйкоку Тэнно… И моего братского кровника. Визит к мэру Мотошима–сан в его муниципальную резиденцию. Поездка с ним на смотровую площадку над городом, откуда раскрывается панорама Нагасаки — замечательной, одной

из самых удобных и красивых гаваней в Азии… И долины, где 9–го августа 1945 года взлетел и сжег город атомный гриб…

Было шествие на Интернациональное кладбище Инаса. Возложение венков к могилам коллег и сподвижников мамы, скончавшихся в Японии от ран, полученных еще в Порт—Артуре. Церемония поминовения русских солдат и матросов, погибших в той войне. Экипажей кораблей Второй Тихоокеанской эскадры, расстрелянной у Цусимы.

И Марфиньки Майер, молоденькой кузины мамы — сестры милосердия лазарета Великого князя Бориса Владимировича, павшей в Бою у Ляояна 20 августа 1904 года…

И первого мужа мамы — Мишеля Вильнёв, нейрохирурга лазарета Стесселя в Порт—Артуре, погибшего 2 декабря 1904 года при взрыве «Второго Форта»…

Было посещение Монастыря Инаса, где после Цусимского сражения несколько месяцев работала мама. Впервые увидел я её портрет в Святилище Храма и принадлежавшие ей записи и бумаги, ставшие «священными реликвиями»… музея…

Там же, от моего Йошияку Кицу, узнал, что истоком уважения, а потом и почитания мамы в Японии явилось деятельное ее участие в «выхаживании и выздоровлении» близкого родственника Хирохито, раненого у Цусимы.

… Дни проходили стремительно. Позади яркие, «в традиционном стиле», приветствия граждан Нагасаки — выступления спортсменов, пантомимы, исполненные школьниками, парады национальных оркестров…

И всё это — мне, для меня?… Не понимаю, почему такая честь, такое внимание. И однажды, не вытерпев удушающего чувства неловкости за все эти совершенно не заслуженные мною знаки внимания, я — снова, как в Токио — жалуюсь теперь уже всюду сопровождающему меня Мотошиме…

Прямой, суровый и… неожиданно искренний человек, мэр оборачивается в сторону города, — отсюда, с балкона, огромный мегаполис как на ладони, — и говорит тихо:

— Япония отдаёт свой неоплатный долг вашей матери… И благодарит, как может, вас, Додин–сан, за всё, что вы в страшные годы сталинского террора сумели сделать для японских мучеников… Разве жалкие наши попытки отблагодарить вас вниманием нашего народа могут быть сравнимы с вашим подвигом?…

Что тут скажешь… Или по японским меркам я вправду что–то значу?

… Мне Хитоши Мотошима сделал воистину незабываемый подарок.

Тихая улочка «старого» Нагасаки. Редкие прохожие. Свет уличных фонарей освещает тротуары и фасады невысоких домов до уровня бельэтажей. Остальное — во мраке. Тонкий запах каких–то неярких цветов на стриженых кустарниках–ограждениях. Обычный двухэтажный дом; матовый свет витрин внизу, наглухо закрытые жалюзи и потому тёмные окна верхнего этажа…

У входа, прикуривая один у другого… двое. На них форма — очень знакомая! Да ведь это… Это полевой офицерский наряд преображенцев! Как же оказались они здесь, на окраине японского города? И почему в этой трагически знаменитой форме?… Ничего не понимаю! И спросить некого — не Мотошиму же…

Но Хитоши, взяв меня под локоть, проводит мимо них — тоже «взявших под козырёк» — в скромный холл. Идущие за нами мои сопровождающие молча проходят вслед. Уютный зал — татами традиционного ресторанчика, за которыми ужинают японцы. На стенах тоже традиционные панно. Традиционные фонарики на столах. Традиционные светильники–кенкеты в стенных нишах… Всё это я когда–то уже видел… Только в несколько ином одеянии… В другом зале, с другими столиками и другими светильниками под Шалями… С другими плотного шелка абажурами с потолочных плафонов… Но… волнуюсь почему–то…

Нас приветствует хозяйка(?) заведения, женщина пожилая, в длинном чёрном платье под цыганской шалью, — очень похожая на Русланову или — нет — на Плевицкую дородностью, статью, улыбкой. Движением открывшейся в разрезах широкого рукава полной, красивой руки, она приглашает нас к свободному отдельно стоящему столику, по–праздничному накрытому. Мы идём к нему и рассаживаемся… Оркестр тихо исполняет восточную мелодию… Японцы–официанты подносят ледяную воду и карты с меню… Из кухни слышатся звуки разбираемой посуды и доносятся многообещающие запахи жаровень…

Но возвращается хозяйка. С нею двое в преображенской форме — но не те, что встретили нас у входа. Она извиняется передо… мною! Она взволнованно извиняется… Но почему? Из–за чего? Оказывается… «Нас уже ожидают». Кто? Где?… Встаём и идём за нею, сопровождаемые преображенцами…

Открытая кухонная дверь. Мы проходим мимо великолепной кухонной техники — мимо плит, печей, газовых и электрических очагов, мимо стоек со сверкающими сталью и медью кастрюлями и сковородами, мимо поставцов, наполненных яркими овощами, мимо ванн с переливающимися морскими чудищами, мимо

аквариумов со скопищем невиданных рыб…

За низенькой дверью, распахнутой одним из преображенцев, тёмный коридорчик. И крутая лестница наверх… Один из провожающих нас «офицеров» помигал фонариком. Сверху ответили. «Офицер» попросил нас представиться. Мы все сообщили ему наши имена, фамилии и… «звания». Жестом он пригласил нас следовать за ним, высвечивая ступени… Мы поднялись.

…Там нас встретили.

И вот, ночь напролёт сидим мы за столом старого — ему далеко за 70 лет — ресторана «Харбин», в некогда тайном прибежище ареопага Белой Гвардии… Лампы, накрытые шалями, шелковые глухие абажуры с потолка, и столешницы, заваленные по русской традиции русской снедью.

Очень приглушенно, почти неслышно, — тихая музыка — марши российских полков, и вальсы «На сопках Манчжурии», «Прощание славянки»…

Напротив нашего стола на стене, — в центре, — в венке из чайных роз, писаный маслом портрет человека с трагическими глазами… Колчак! Справа от адмирала, в белой раме, Анна Васильевна Тимирёва, а в белой раме слева — мама моя!… Под ними до огромных размеров увеличенная фотография, обошедшая Японию и мировые СМИ, и опубликованная в газетах страны в день посещения нами дома Иосие–тян. На ней четверо русских сестёр милосердия, в 1905 году квартировавших в том же доме, только у Мирои–тян, у племянницы «того» адмирала: княжна Леночка Шаховская, княгиня Вера Львовна Оболенская, мама, Дина Ноевна Заржевская—Баранова…;

Трагические фигуры XX века! Трагические и бессмертные, как оказалось.

Анна Васильевна Тимирёва, подруга Александра Васильевича, — я о том писал, — после своего самоареста вместе с адмиралом в 1920 году и до освобождения после 1958 года проведшая в тюрьмах, лагерях и ссылках.

Елена Шаховская, погибшая при подавлении в 1921 году Кронштадтского восстания.

Вера Оболенская, застрелившаяся при эвакуации Новороссийска в 1920 г.

Мама… Судьба её известна.

Дина Заржевская—Баранова, после ГУЛАГа /1929 – 1941/ убитая украинскими полицаями в 1941 году в Крыму…

… Портреты объединены стеклянным саркофагом на стене… Это — к вопросу о свальной ксенофобии белогвардейцев. Оказалось: стоило Дине Ноевне и маме «не пойти куда все», в

комиссары, а в спасители, и россияне отличили их, и помнят почти век, разыграв передо мною эту «оптимистическую трагедию»' не на сцене, а в жизни. И не просто украсили этот удивительный спектакль портретами Корнилова, Кутепова, Врангеля, других героев отечества Российского, а собою — потомками их, прибывшими в Нагасаки со всего света, чтобы познакомиться со мною, сыном «Доктора Фанни», и рассказать мне, что рассказали им о ней их отцы и деды. Да и к себе пригласить — к ним домой, в страны, куда раскидала их судьба…

… При посещении нами ресторана «Харбин» устроители встречи сделали всё, чтобы приблизить обстановку его к той, что бытовала неукоснительно в годы Гражданской войны и после, когда чекисты из кожи лезли, чтобы и в Японии достать героев русского сопротивления. «Конспирация» была отменной, «бдительность» — также. Да и удовольствие, обретённое всеми участниками действа от «прохождения через кухню», как «тогда», было всеобщим. Договорились встречи проводить регулярно — раз в два года: кое–кто из участников были уже весьма пожилыми людьми. Боялись, что до следующей не доживут…

А вечером следующего дня мэр Нагасаки привёз меня вновь на Инаса. Там встретил нас мой добрый Иошияку Кицу. Мы молились в его храме На Горе, и после молитвы пришли к могиле моего пращура Симера Шиппера. Так, через 86 лет после его свидания с мамой, навестить моего моряка на голландское кладбище пришел и я.

И Хитоши Мотошима, — этот «сухарь», как называли мэра мои репортёры, — обнял меня, и сказал: вот теперь мы с тобою, друг, породнились окончательно…

… Телерепортёры работали в поте лиц. Фотографы посверкивали блицами. И моряки корвета в заливе салютовали памяти своего коллеги Шиппера одиннадцатью залпами!

«Мелочь», а приятно было…

… Не хочу разбавлять волнующими меня впечатлениями очень серьёзные «мероприятия", проводимые в те дни на земле Нагасаки Масарой Ибуки — встречи с его друзьями–промышленниками… Приводили подобные сборища к неуклонному наполнению кассы маминого «Спасения» — щедрому, и, кажется, необратимому. И ещё — к решению, — раз и навсегда, — всех проблем, связанных с публикацией моих рукописей в Японии, и не только.

Досточтимый Йошияку, между тем, возил меня по окрестностям Нагасаки и очень дотошно знакомил с судьбою его и с жизнью бесчисленных храмов, возникших здесь много веков назад…

… Проводы участников встречи в «Харбине» заняли день. Принесли они одни только волнения и слёзы. Никого посторонних не было. Прессы тоже. Как не допущена она была на мою встречу с местом в океане, в проливе между островами Цусимы и Ики у юго–западной оконечности Японского острова Кюсю, где 14 – 15 мая 1905 года ушли на дно моряки 29 кораблей Второй Тихоокеанской эскадры Российского флота, разгромленной адмиралом Хейхациро Того. Среди погибших тогда офицеров были и близкие мне люди. Но помянуть только их я не мог…

… В полночь с 9 на 10 октября 1991 года в точке похорон капитана 1–го ранга Юнга, командира броненосца «Орёл», с борта эскадренного миноносца «Акебоно», мы — с командиром его капитан–лейтенантом Кейсуке Ноги — сбросили венки от ушедших — от Катерины Гельцер, Густава Маннергейма и от четы Стаси Фани и Залмана. И от здравствующих — от Иосифа, от Нины, от меня, от Александра и от Фани… Венки опустились медленно в воды Корейского пролива… Над их мёртвой священной тишиной ударил Одинокий Пушечный выстрел, перекрывая возглас–ориентир дежурного офицера:

— Широта 35° 56' 13» северная, долгота 135° 10' восточная!…

Всё…

Кто ещё–то помянет «проигравших»?…

…На рассвете, придя в Фукуока, мы облетали Цусимские острова, ощетинившиеся хвойными лесами. А потом отдыхали в резиденции мэра на тоже укрытом тайгою острове Накадаришима…

А ещё через несколько часов, полулёжа в удивительно удобных креслах экспресса «Шун Кансен», почти засыпая, — ночь–то прошла без сна, и какая ночь, — через панорамные окна вагона всматриваемся как мимо разгоняющегося вагона отлетают назад сперва городские кварталы Нагасаки. Потом зелёные массивы пригородных его парков. Потом прозелень возделанных садов и полей — вот только что мелькавших разноцветьем осенней палитры… А теперь, — когда скорость стала уже незаметной и поезд «набрал» свои 250 километров в час, — застывших непрерывающимися цветными проблесками…

Мы «летим» в Киото!… В само начало — в само утро судьбы мамы.

Но несколькими днями прежде случилось вот что:

Мэр Мотошимо–сан, человек предельно молчаливый, так же молча, как и до сих пор провожая меня в дорогие ему уголки его Нагасаки, повез теперь на северо–запад города, — на высокий лесистый склон бухты, изрезанной бесчисленными фиордами,

окаймлёнными буйствующей субтропической зеленью. В центре этого сине–голубого великолепия, окольцованного цепью гор, ощетинился собственными хвойными лесами остров Катабоко. Весь — как есть — двойник Валаама, когда утренней зарёю подходишь к нему с юго–востока Ладоги.

Но целью нашей поездки был не он.

Мы направлялись, в расположенный напротив пригород Иноса, прежде, — при маме, — да и теперь, как я понял, именующийся «Русской деревней». Когда–то, годах в восьмидесятых XVIII-го века, Россия арендовала несколько участков расположенного здесь селения. И место это стало подобием «Гостиного двора» для русских путешественников и моряков.

В нескольких милях от него — тогда в «дачной» части берега — стеною стояла роща огромных пиний. Теперь это была деталь мегаполиса.

Мы остановились в центре маленького квартальчика, уставленного домиками «традиционного» стиля. В открывшуюся перед нами глухую калитку ажурной чугунной ограды одного из них и провёл меня Хитоши.

У входа на низенькую террасу нас ожидала маленькая старушка в коричневом кимоно. Мы поклонились ей. Она — нам. Представилась мне: — Иосие–тян. Шедшие за нами Ясуо Найто и Йошияку Кицу, тоже склонившись, почтительно её приветствовали. А опередившие нас Кейсуке Табата с ассистентами сцену эту снимали…

… Какие–то неясные воспоминания, вдруг, растревожили меня, но какие — понять не мог. Искал мучительно, зная, — важное нечто должно сейчас раскрыться. Что–то очень беспокоящее. Связанное не только и не столько с этим вот почему–то очень знакомым мне местом, которого я, конечно же, никогда не видел, но совсем с другим временем и с совсем иными действующими лицами…

И не здесь, не здесь…

Но где же?…

Между тем, мы были приглашены в дом.

Нас усадили. Подали чай. Сладости и солёности на блюдечках. Всё, как и во всех семьях, где меня принимали. Вот только какое–то настороженно–почтительное молчание несколько смущало. Заставляло ожидать некоего, — в эти необыкновенные дни, — особенного сюрприза. Он последовал. Йошияку Кицу, отставив чашечку с чаем, призвал к молчанию. И, взглянув мельком на меня, сказал, — будто «между прочим», — сложив руки на груди:

— Бэн!, — он меня в Братске так называл после своего спасения, — Бэн! Мы — в доме… Здесь, восемьдесят шесть лет назад, жила несколько месяцев, твоя мама…

… Вот, когда всё прояснилось, когда всё встало на своё место!…

… Но! Не здесь, не здесь, и даже не в «мамино время» — не в начале века — а уже в «моё» все произошло. Однако, всё, что случилось тогда и что обрушилось на меня вот сейчас, — всё было связано с этим домом, где я вот теперь оказался!…

… И чтобы осмыслить моё состояние… А жизнь моя — она не просто состоит из таких вот состояний, — она и есть эти самые состояния, скованные в цепь моей судьбы… Чтобы осмыслить его нужно возвратиться в 1953–й год… На тридцать восемь лет назад. В таёжную глушь Тунгусок, где в глубине приенисейских урманов, у подножья Оймолона, теплятся угли каменки в моём зимовье. От которого — через безлюдье горных лесов — две тысячи вёрст декабрьских непролазных снегов до железной дороги. До единственного реального пути в уже забытый мною мир…

… Только что проводил неожиданного и нежданного «гостя»;, порядком меня озадачившего. В тайное это моё укрывище привёл его Гриша Зенин;;. И если бы Гриша Зенин один пришел, — из райцентра бугор, — всё бы ничего: за зиму бывает дважды — охотой по чернотропу с собаками, и по насту, без лаек. Тем 190 километровым ходом должен он и «Балтику» мою «проверитъ» — бессонными ночами «вражьих голосов» наслушаться на моём батарейном приёмнике, словив кайф вдали от красноярских глушилок и приисковых соседей, что «заложат прежде, чем позывные прокукарекают». Не посмотрят, что начальник рай-МГБ.

Так вот, если бы только Гриша пришел. Ан нет, — Зенин привёл с собою прокурорского(?) посланца из самой столицы! Для чего же притащил его сюда, непривычного к таким путешествиям — за четыреста с лишком вёрст от Мотыгина, куда тот прилетел «незамедлительно снять с меня показания» по моим делам 1941–1944 годов?

«Дела» — то все — у них, У НИХ — не у меня. Подняли бы, почитали /Через 24 года выяснилось: читали! И ещё как! Больно серьёзными оказались истинные интересанты. Вернитесь к соответствующим станицам повести… Убедитесь…

Проводив их, всё ещё под впечатлением собственного недоумения, я даже стихами разразился — имелась у меня такая реакция на всяческие странности, сваливающиеся — нет–нет — на бедную голову мою:

«… Верил свято, что здесь, в зимовье, до стрехи

утонувшем в лиловом сугробе,
напишу, не однажды, такие стихи,
что помогут рассеяться злобе
на проклятую память, лихую судьбу…
Да рождённый, видать, без сорочки,
измытарюсь, истлею в казённом гробу,
по себе не оставив ни строчки…
Распихает бродяга угли кочергой…
Спалит в печке одну половину
бесполезной бумаги, оклеив другой
из корявой ольхи домовину…
Надо мной будут вечно цвести и гнить
поколенья лесов Оймолонской Гривы…
Хранить будут вечно могилы–архивы
«Дело» с грифом: «Вечно хранить!«…

Словом, верил во что угодно, только не в чей–то интерес ко мне.

Но, внезапно, Ветрища Горние
в пастораль мою ворвались!
Замельтешили хари черные!
Хороводы ведьм завились!
И из «Сфер» — нежданно, негаданно -
в зимовье залетел Гонец…
Вострубил: — «Мне задание задано!
И вашим бедам будет конец!»
Он глядел мимо глаз внимательно.
А позднее чуть — за столом -
допросил, жуя обстоятельно,
про «Дела» мои, … костолом…
В завершении, навалив вагонами
Апокалипсисов вороха,
он взмахнул крылами–погонами
и… рванул на доклад в «Верха»…

… Где было мне знать, что в эти самые часы Колокол моей Судьбы отбил склянки. Потому, устав от гостей, спать улёгся, благо по часам было уже скоро вставать. Сверчки, успокоившись, снова завели песни. И тотчас Волчина мой поскрёбся снаружи. Израстая, он последнее время тосковал сильно: пару искал. Да только где она здесь — пара эта? В таких дебрях, да в таких немыслимых снегах… Вот и мечется он из дома в тайгу, из тайги — в дом. И после полутора лет в бегах снова я ему вроде мамки…

Накинув доху, выхожу к нему. Зову в избу — не идёт. Кладу руку ему на голову. Под ласкою он замирает, прикрыв глаза.

А ведь волк…

Постояли так малость. Он голову опустил, поджал «полено». Ушел…

Я снова улёгся. Засыпая, «читал" - будто написанные на чём–то, стихи, что Толя Клещенко в последний приход ко мне оставил загодя, слушая — уже сквозь сон — пронзительно–жалобный, с присвистом, вой близкой пурги…

Я сплю… Не песней колыбельной -
Разбойным свистом за окном
Мороз — из детских сказок гном
Баюкает меня, метельный…
Печальных песен февраля
Тоска и грусть неодолимы,
И в снах моих иные зимы
С волненьем вспоминаю я:
Лыжню по насту снеговому
В саду Нескучном; на горе
Седые липы в серебре;
И в сумерках дорогу к дому -
Вечерних улиц суету,
Цветные блики светофоров;
И дом, и смех, и звон приборов,
И ужин, тающий во рту…
От роскоши далекой этой
Отставлен я давным–давно.
Чай заменяющий вино,
И стол, застеленный газетой -
Что ни серей и ни рыжей -
Теперь милы. Довольный малым,
Я разучился арсеналом
Десертных вилок и ножей
Пожалуй, пользоваться ныне…
В мой «юбилей» очередной,
Под ветра свист и вьюги вой
Шепчу во сне: о младшем сыне
Не плачь, моя Святая Мать.
Вкусивший хлеб с водой и солью,
Сродненный с горечью и болью
Твой сын научен понимать
Жизнь, не похожую на сказки.
«Библиотечки Золотой».
И украшать ее мечтой
О счастье материнской ласки…
… Только уснул — собаки разбудили!…

Кого снова несёт? Ко мне, по–доброму–то, гости раз в год

приходят.

По лаю — весёлому, радостному — свой кто–то. Раздул угли в каменке, «летучую мышь» засветил. Вышел с нею в воющую метельную стужу. Меж тесно сбитых стволов лиственниц, — схлёстывающиеся с моими, — черно–белые лайки Тычкина — знаменитый и надёжный его «хедер»;… Погодя немного, из чёрной тьмы непроглядного подлеска вихрями вынеслись–вылетели на свет Аркашины «Сивки—Бурки» — да прямо на меня! На фонарь! И как всегда… будто на что налетели — враз присев передо мною под аркашиными жесткими вожжами и поднявшись на дыбки, как в сказке: «став передо мной, как лист перед травой»!…

В кошеве, на развале шуб, медвежьей полостью окутанный кто–то лежал. Неяркий, трепетный отсвет «мыши» выхватил в распахе необъятного ворота отсвет… оренбургской шали… Женщина?!…

Я поднял фонарь…Увидал смутный рисунок провалов глазниц, — бликов света в них не было… Или зрение моё, вдруг, помутилось?… Только молотками сердце заколотилось, заметалось, стиснулось болью… Горло перехватило… Рука выпустила что–то — это фонарь выпал, нырнул в снег… Потух… И тьма взрывом сгустилась шибче ещё… Только — сквозь наледь — мутный проблеск из окошка…

— Ты чо, парень.? — Тычкинским голосом пугающе громыхнула тайга…

— Ты чо? — Слышным чуть эхом будто переспросила голосом Тычкина:… — Ты часом не свихнулси? — снова его голос… из избы уже… — Фонарь вот утерял!… Засвети чё нить!… Я жа маму тибе привёз…

* * *

… Где–то я уже писал: никогда никому не рассказывал, что мы с нею пережили, встретившись у избы моей в ту декабрьскую ночь после четвертьвековой разлуки. И не расскажу никогда. Кому интересно — пусть вспомнит поэта:

«… Они всю жизнь друг друга ожидали.

А встретившись, друг друга не узнали…»

… Её такое нежданно–счастливое появление в моей жизни в зимовье у Вечного Ключа должно было наполнить наши дни и ночи радостью узнавания.

… Медленно движется в тайге время. Тайга спешки не терпит. Потому, переживая заново нашу с мамой жизнь, мне казалось, что время бесконечно. И что тихие наши разговоры — монологи о прожитом будут вечны и никогда отныне не кончатся. Главное, — и о том не только вслух, при маме, но и про себя

подумать нельзя, чтоб не сглазить — что это и есть наше с нею заработанное нами счастье…

Но что–то его все же, сглазило.

Недели две, а то и три, спустя, — это я точно не помню, — заговорив со мною о своих ушедших друзьях, и помянув Александра Васильевича Колчака, мама, вдруг, — без присловий и вступлений, — сказала:

— Нам с тобою, сын, навестить надо Анну Васильевну…

О Тимирёвой наслышан я был от Бабушки, хорошо её знавшей. Бабушка рассказывала мне об этой милой, застенчивой и очень открытой женщине, ставшей, однажды, любовью, сподвижником и другом адмирала. Другом верным, верность которой проверена была, не только её «самоарестом». Когда, предавшие его чехи продали его за часть золотого запаса «группе захвата» в Нижнеудинске. И она явилась в ЧК чтобы, как ей представлялось, быть рядом с любимым человеком пусть в камере смертника. Не только… Не только… Но, главным образом, 35–ю годами непрерывных арестов с тюрьмами, зонами лагерей, глухоманью ссылок…

Страшная судьба выпала Анне Васильевне. И всё — за несколько месяцев счастья с её, и только её, Колчаком, — героем её мечтаний, грёз и солдатского быта. За эфемерную надежду пусть на кратенькую, пусть с любыми последствиями, тихую жизнь вдвоём…

«… Мы уедем в Японию… Я уже попросил отставки…», говорил он ей. «Да, да, в Японию!«… «Мне временно надо побыть в стороне, собраться с мыслями… Анна, я не шучу, кроме вашей поддержки, мне действительно ничего не нужно!… Запереться где–нибудь на краю земли… и заниматься наукой, одной только наукой. Если б вы знали, Анна Васильевна, сколько драгоценного материала накопилось у меня после моих северных экспедиций, всё описать, жизни не хватит!».

И, спохватившись, «одной лишь снисходительной усмешкой перечеркнул сказанное ИЗВЕЧНЫМ:

— Но если не я, не такие, как я, тогда кто же?»

Он чувствовал! Он знал! Он уверен был!: «если не он, если не такие, как он…»

«Петух» времени не прокукарекал — под большевистский нож пошла страна, которую хотел он уберечь от смуты; под пули в затылок ушли сами большевики; сошли в расстрельные подвалы прибывшие за адмиралом в Нижнеудинск чекисты; в голову организатора разбоя вошел, сокрушая, ледоруб; танки ворвались на площади чешских городов, на полстолетия остановив историю «Жемчужины Богемии» и сломав жизнь миллионов ее граждан.

«Утопивший утоплен будет! Закон Возмездия…»

Великий Человек. И Великий Учёный.

И она рядом с ним… в тридцатипятилетней каторге…

И «нам с тобою навестить нужно Анну Васильевну».

… Легко сказать: «навестить». Тимирёва — в Енисейской ссылке. До городка по одноименной реке, — если напрямки, сквозь тайгу и горы, — километров четыреста. Не расстояние, вроде. Для Сибири тем более. Только… это будет уже другой район края. А выход за границу «моего», Удерейского района, — : арест, суд, 25 лет каторжных лагерей — сам в предупреждении расписывался!

… Надежда на порядочность Гриши Зенина; оправдалась: он настоящий и смелый друг! Сказал только:

— Смотри, парень, — права не имею без приказа края командировать тебя в Енисейск; попадёшься, мне тебя вынимать из петли несподручно… Ладно! С Богом… И переспросил только, — с Аркашей побежите?

— С кем ещё–то? —

— Тогда лады. Маме привет…

И к утру всё ж таки соорудил про всякий случай собственную, своим только понятную подорожную ксиву…

Посоветовав–приказав гнать не по старому продснабовскому санному пути по вдоль Ангары через Стрелку и там по Енисею… А напрямки — по целику, без дороги — меньше любопытных…

430 километров, без заезжих и зимовий в пути, «пробежали» аркашиными чудо Сивками—Бурками меньше чем за четверо суток. Ночевали у костров–складней — мама на кошеве в дохах. Мы с Аркашей на лапнике в дохах тоже. А складень костёр — это из расколотых «по–вдоль» и притёртых, горящих не шибко, лесин, до которого друг мой был большим мастером.

С Анной. Васильевной встреча была тяжкой: неподъёмного горя за множество лет с часа расставанья её с любимым и единственным поднакопились горы! И разом выплакать пережитое не получалось. Да и днём сегодняшним она не жила — вся была с Александром Васильевичем в Никко, — что примерно в 120 километрах севернее Токио /Теперь это центр Никко Национального парка/.

«Александр Васильевич увёз меня в Никко, в горы /там и вулкан одноимённый!/. Это старый город храмов, куда идут толпы паломников со всей Японии, все в белом, с циновками–постелями за плечами. Тут я поняла, что значит — возьми одр свой и ходи: одр — это просто циновка. Везде бамбуковые водопроводы на весу, всюду шелест струящейся воды. Александр Васильевич смеялся: «Мы удалились под сень струй…»

… Хорошо–то как, — жил–был Человек Володя Максимов, друг по вечной памяти о двух любящих людях, по моему какому–никакому знанию о них, друг из–за того, что вот уже более шестидесяти лет будучи в твёрдой памяти и растущем уважении к этим несчастным людям, храню в себе их образы, и даже пытаюсь рассказывать неравнодушным в своей истории о их судьбах.

Да, хорошо, что был–жил Володя Максимов, оставивший повесть об Анне и Александре «Заглянуть в бездну». В бездну, а бездна, — она рядом была! В марте 1917 года Анна Васильевна отправила шестилетнего Славика к маме своей на Северный Кавказ, в Кисловодск… И всё… И всё…

Больше она мальчика не видела. Никогда.

А в 1947 году начальник конвоя Бородин Иван, человек добрый, «признается» ей… Но пусть о том скажет Володя Максимов, но только не я. Не я.

«Ровно через тридцать лет сердобольный вертухай на Карагандинском лагпункте расскажет ей, как ссученные урки забивали сына её насмерть в лагерной бане, как кричал он и рвался из–под их звериного нахрапа, как с номерной биркой на ноге сброшен был в общую яму за зоной, и она горько пожалеет тогда, что не сгинул он в самом начале…»

С того часа, когда узнал в неуютной светёлке Анны Васильевны в Енисейске о судьбе её Ростислава, о судьбе её потерянного сына, силился гнать от себя страшную мысль: ведь судьба её, это и мамы судьба. И моя — тоже. Я потерял её пятилетним младенцем и давным–давно забыл бы и её саму, и лицо её, не сохрани Бабушка маминых изображений и не напоминая постоянно о маме. А мама оберегала память обо мне еженощной молитвой о спасении нас с братом, и представляя меня ребенком, — таким, каким видела на хранимом папой снимке, сделанном в 1929 году их другом Наппельбаумом. Ещё она «знала» меня по фотографии 1937 года, привезенной всё тою же Бабушкой — прабабкой моей — к ней, на Колыму (ЯКОБЫ!), когда сорвалась туда по «делу» своего племянника Юрия Розенфельда, сердцем рвясь и предчувствуя даже, что свидится с мамой.

Её Степаныч; организовал, выдернув меня из Таганки.

… Но не радость узнавания раскрылась нам с мамою, а мука попыток хотя бы вспомнить друг друга. Сколько времени было уворовано у нас с нею на ту казнь… Сколько душевных сил, и без того выпотрошенных из нас судьбою. Однако… Однако… Спокойное течение жизни в зимовье, мир вокруг, и даже визиты Волчины, вносившего в пропахшее травами и напоённое смолистым теплом наше прибежище дух звериного отторжения от

людей — будто все они исчезли, — всё, всё это утихомирило наши взорванные внезапным свиданием души…

И то, что мы были одни, и никто не мог мешать нам, спасло нас. Как и молчание тайги, обступившей нас и остерегающей медленно обретаемый нами покой. Ещё день, ещё ночь, — цепочка ночей и дней, вместе проведенных, приближали нас друг к другу. И, однажды, мы оба проснулись с ощущением, — успели слава Богу, проснуться и ощутить, — что мы — мать и сын…

Каким же это было счастьем!

Радостью полнились дни и ночи нашей двухмесячной близости, ничем тогда ещё не омрачаемой, созерцанием друг друга, спокойными — впервые во взрослой жизни моей — разговорами с мамою. Рассказами о жизни, — о тех её важных, единственных и неповторимых фрагментах, которые нельзя, которые грех было упустить и не передать их заступающему её сыну. Вот, в одну из ночей, сидя в постели напротив раскалённой каменки, опершись о подушки у стены и завернувшись в доху, вспомнила мама о таком же уютном, «как твой», домике у «Русской деревни» в Нагасаки.

… — Дом стоял в чудесном саду — совершенно японском, — по пейзажу, по духу, по мастерству, по дотошности, с которой его создавали, — так рассказывала хозяйка Мирои–тян, племянница какого–то военного, говорили даже адмирала! Тогда работали мы сутками, меняя друг друга в операционной для получасовой «отлёжки» пластом на татами в какой–нибудь палате.

Наша Вторая Тихоокеанская эскадра была уничтожена. Десятки тысяч раненых моряков, подобранных победителями, ожидали днями и ночами врачей, совершенно обессиленных изнуряющим стоянием над месивом из костей, из плоти, из крови… Ужас! Я не просто не высыпалась, я галлюцинировалась сном, думала только о сне, но когда падала на циновку сон не приходил…

Получалось, что выбирались мы «домой», к Мирои–тян, не чаще раза в неделю. И только там я засыпала каким–то дёрганным, не дающим успокоиться, сном–обмороком…

И однажды я поняла, что заболеваю…

То ли это была тропическая лихорадка, то ли какое–то: неизвестное моим врачам нервное наваждение… Говорили: «ходит» эпидемия «тропического туберкулёза», возбудители которого проникают в организм через ранки на коже. А ноги мои были сплошной раной: от непрерывного стояния на непрерывных операциях они у меня затекали и мне затягивали их портянками до колен, и обливали кипящей настойкой какой–то местной травы… Кожа лопалась… Словом, вот он путь инфекции…

Так, или иначе, я заболела.

Двигаться не могла. Лежала тихо, очень чётко ощущая всё, что видела и слышала. Мирои и две её служанки ухаживали за мною, как за ребёнком. — А ты и есть ребёнок, — смеялись. — Тебе лет–то всего ничего и такое приходится видеть… И переживать…

Со мною почти не говорили — чтобы не беспокоить. Отпаивали какими–то декохтами из корешков и травок — разваривали, остужали и поили микроскопическими дозами через каждые полтора–два часа. Но пришло время выздоравливать. И вот тогда они меня и разговорили. Им же хотелось знать: кто я, зачем на войне, и, вообще, с какой стати ввязалась в вовсе не женское дело?

Я, конечно, попыталась всё им объяснить. И надо было тому случиться, вспомнила совершенно случайно, что в моём роду я не первая, кто бросился спасать раненых. В 1899 году дядька мой, врач, отправился на Англо—Бурскую войну в Южную Африку. И там погиб. А за 54 года до того родной брат моего деда инженер Симер Шиппер, старпом командира фрегата Военно–морских Королевских сил Голландии, пришел в Нагасаки на помощь охваченному эпидемией чумы городу. Сделал для японцев всё, что было в его силах. И, сам заболев, умер… Таково семейное предание. И, если мне не изменяет память, похоронили его не в океане, как моряка, а в самом городе, потому, что на этом настояли благодарные его жители…

Когда я поднялась, и мне разрешили ходить, — ноги–то, раны–то на ногах ещё не зажили, — неожиданно явились… премьер–министр Японии Таро Кацура в сопровождении мэра Нагасаки Иосуе Норимото. За чаем они поблагодарили меня за труд в операционных Киото и здесь, в лазарете монастыря и храма Хошинджи, опекаемого самим Императором, «дядю которого Сейно Тенно вы заставили выжить и стать на ноги»'. Так же, как и мои добрые хозяйка и её служанки, и они расспрашивали меня о моей семье, вспоминать о которой «на ходу» мне не хотелось. Потом предложили пройтись немного по Нагасаки. Я с радостью согласилась, так как «пройтись» предполагалось в открытом автомобиле… Где уж они меня возили — не знаю: я же в Нагасаки только работала и времени, тем более сил, у меня для знакомства с городом не было. А тут ещё и автомобиль!

Представляешь, — они привезли меня на Инаса — на интернациональное кладбище. И там, в голландском его секторе, подвели к гранитной плите–надгробию. Не веря своим глазам, я прочла на камне: «Могила № 27. Симер Шиппер. Инженер–

капитан корвета «Геде». Август 11 1855 года.»;…

Мне кажется, — только японцы могли сделать мне такой подарок Памяти.

Казалось бы, «какой–то» двоюродный дед; времени прошло, слава Богу, полстолетия. И место — «по другую сторону» Земли… Но я расплакалась…

Самое удивительное: взволнованы были и мои провожатые!

Домой, в резиденцию Мирои–тян, возвратились мы после растянувшегося за полночь ужина, очень дружеского, будто с друзьями из далёкого детства. А встретила нас не сама: хозяйка, а её дядя — тот самый адмирал. Был он не «по–японски» высок. Не по годам строен. Красив. Серебрённые сединою виски. Серебряная бородка. Светлые, цвета морской воды, глаза. Повседневный мундир без каких бы то ни было регалий сидел на его атлетической фигуре, и вправду говорят, «будто отлитый». Словом, эдакий морской волк — сердцеед. Только веяло от этого человека вовсе не моряцким пижонством, а волей. Железной волей. И затаённая грусть пряталась в крупных, за гильотинными веками, тоже не очень японских глазах. Я даже пожалела его, океанского скитальца.

В это время Таро Кацура представил адмирала: Хейхациро Того. Имя его я как–то пропустила мимо ушей — все же рядом были и сам премьер страны, и мэр огромного города; и фамилия адмирала меня… не насторожила, что ли… Уж очень по–домашнему, по–родственному встретил он меня, и обнял. Да и с племянницей своею обращался, как с самым близким и дорогим существом. Кроме того, — я вспомнила, — как сама Мирои–тян отзывалась о своём дядюшке, в сущности, вырастившим и воспитавшим её с четырёх лет, как… саму меня вырастила и воспитала твоя прабабка…

Гости попрощались, когда уже была ночь. Я с подругами — своими коллегами — ушла «к себе». Мы уже ложились, когда к нам постучался отъезжавший «на эскадру» Того–сан. Он пожелал нам доброй ночи. Поцеловал всех в лоб… Ушел, оставив по себе чуть уловимый запах угля…

А на другой день, в лазарете, прямо у операционного стола, я услышала «новость»: вчера в Нагасаки был «с визитом» человек, расстрелявший в Цусимском проливе Второй Российский Тихоокеанский флот и тысячи русских матросов и офицеров огромной эскадры… адмирал Хейхациро Того…

… Сорок лет, как умерла мама. Чуть больше времени прошло с тех пор, когда она рассказала мне о встрече в доме Мирои–тян. А я все ещё помню застывшее в глазах её эхо потрясения, испытанного ею — боже — 90 лет назад…

… Иосие–тян, внучка Мирои, племянницы адмирала, — на всю жизнь запомнившегося маме, — рассказывала: Хейхациро обласкан был императором Иосихито, возведен был им в Национальные Герои… Вот, как и вы, Додин–сан сегодня… — Она поклонилась мне… — Обрёл Графское Достоинство. И приглашен был занять самое почётное место в иерархии — должность воспитателя родившегося четырьмя годами прежде, 29 апреля 1901 года, сына Иосихито — будущего императора Хирохито. Воспитателем был он отменным. Формально, обязанности свои исполнял аж до 1926 года — до кончины Иосихито и занятия престола своим воспитанником. Однако продолжал оставаться на этом посту до своих последних дней — до 1934 года…

Народ знал: рядом с его сувереном человек, который ему нелицеприятный советчик во всём, что касается жизни всех японцев, учитель всему, что в те годы относилось к военно–политической сфере, и… нянька, потому, что император о себе никогда не думал, заботясь только о благе страны.

Конечно, Того–сан понимал, что не на все события может он влиять, не всё, что считает губительным для престижа государства способен предотвратить… Так, в 1931 году ему не удалось преодолеть бешеного напора военных, нацелившихся на Манчжурию. И он не сумел пресечь подготовленную армией оккупацию страны, общественность которой была дружески расположена к Японии. Думаю, — я, Додин–сан, не политик, но психиатр и психолог, и если не всегда понимаю следствие поступков людей, то уж их самих вижу насквозь!, и причину тех или иных их решений распознаю точно… Так вот, думаю, что Хейхациро, будь он к 1937 году жив, был бы категорическим и стойким противником вторжения в Континентальный Китай, в страну, которой Япония приговорена Провидением быть союзником. И достижение этой цели и было самой сокровенной мечтой адмирала.

Не побоюсь сказать и такое: живи Хейхациро Того в 1941 году, он ни в коем случае не допустил бы осуществления «Провокации Века», в результате которой «сам» император решил начать Пёрл Харбором войну с Соединёнными Штатами Америки!

Мастер разгадывать «азиатские хитрости», дядька — сам до мозга костей азиат — легко раскусил бы сталинский «ход», как всегда у этого чудовища двойной: нейтрализовать на своём Востоке нас, и втянуть Америку в войну против Гитлера на Западе… Но уже давно не было разгадчика загадок. Что бы он посоветовал императору в то непростое время, я знать не могу. Могу лишь предположить: по–прежнему сидеть тихо на островах и ждать развязки — азиаты–то, чего–чего, ждать умеют!…

Действительно, ход, сделанный Сталиным, гениален: в дни, когда разгром России был неминуем, придумать такое и заставить наших ослов, не чуявших беды, сломя голову, кинуться в омут! Как же это так?! Этого историки не знают до сегодня, хотя им доступны все документы тех лет…

Что бы Хейхациро посоветовал Хирохито, повторюсь, я знать не могу. А если всё же предполагаю, то это уже будет нечто от пресловутой сослагательности, против чего выступают все учёные. И, тем не менее, я готова иногда играть в эту игру: думаю, Хейхациро не допустил бы Перл Харбора.

— Да, да, уважаемая Иосие–тян, и я так думаю. Но ополоумевшие от успехов в Юго—Восточной Азии ваши генералы бросили бы Квантунскую армию на советский Дальний Восток. И судьба Сибири, самой России, стала бы несколько иной. Где бы они остановились? Ведь Гитлер, вынужденный войти в СССР, похода за «Восточный Вал», — за «линию» Архангельск—Астрахань, — не планировал! — Так, ай нет?, — как говаривал мой сибирский приятель Аркаша Тычкин.

Сам я, уже не гражданин России, такой «выход из положения» не приемлю. Какой же это, к чёрту, «выход»: вы, до 1945, бандиты, — в России?! Там такого и без вас хватает. При всём уважении к Японии, к Вам, моя Иосие–тян, Ваши соотечественники устроили бы меня в России в качестве званных гостей, или… всё тех же военнопленных. Да, да, именно в таком качестве. Вряд ли они были бы желательней других оккупантов. Для меня, во всяком случае. Но сегодняшних, испытавших Хиросимскую Катастрофу, я бы на Курилах приветствовал. Пусть в качестве акционеров, если не хозяев.

Что до помутившей сознание мамы встречи с человеком, «расстрелявшим в Цусимском проливе Второй Тихоокеанский Российский флот, и с ним тысячи русских матросов, офицеров и адмиралов…» — что тут скажешь? Ясно, Цусима не «Бакинский этап», в котором в тылу погибло в 22 раза больше тех же российских солдат и офицеров, чем у Цусимы, только смертью куда как более страшною! Дико, но посейчас, через полстолетия, этап этот не отыскал ещё своего — кроме меня — историографа. И потому, верно, не внесён пока первым по числу погибших в перечень поразивших человечество результатов величайших трагедий на воде: Саламинскому — у Пирея и Афин, в 480 году до нашей эры, где Фемистокл затопил флот персидского царя Ксеркса; при Лепанто в Адриатике в 1571 году, в котором под водительством дон Жуана Австрийского флот христиан сжег флотилии египтян и сарацин; у Трафальгара в Гибралтарском проливе в 1805 году, когда адмирал Нельсон, уже потерявший

глаз, и руку, прежде, чем погибнуть, уничтожил громадную испано–французскую эскадру адмиралов Гравина и Вильнёва; наконец, 14/27 мая 1905 года у острова Цусимы в проливе того же названия, когда мамин «знакомый адмирал» Хейхациро Того расстрелял, разнеся в куски, три десятка «до зубов» вооруженных броненосных кораблей российского флота, явившегося «раздолбать япошек!».

Да, безусловно — Цусима — не «Бакинский этап». «Бакинский этап», это Апофеоз победоносной войны сталинского режима со своим собственным народом. Только процесс убийства происходил здесь не под грохот орудийных залпов и не под вой разлетающихся осколков рвущихся снарядов, а в мертвящей тишине стальных, наглухо замурованных танков, в свою очередь, отсечённых от белого света стальными же бортами погребальных барж. И не в быстротечном морском бою, а в бесконечной череде восьмимесячного волжского пути… Однако, после гибели «при Цусиме» около пяти тысяч россиян Россия сломалась;. А гибели в «Бакинском этапе» 110 тысяч русских солдат и офицеров, отстоявших Сталинград, не заметила. Как не заметила гибели 8 декабря 1991 самой себя…

Цусима — впечатляющая воображение морская баталия, но только количество погибших участников её, вместе с когда–то павшими во всех перечисленных «поразивших воображение человечества» сражениях на воде, не идёт ни в какое сравнение с числом убитых в баржах «Бакинского этапа».

И, тем не менее, Цусима — это ошеломительный удар, в конечном счёте сокрушивший Россию и приведший её к катастрофе 1917 года. Однако же, вовсе не адмирал Того тому виною, хотя он, безусловно, привёл в исполнение Приговор Истории. Виной трагедии в проливе, впрочем, как и на театре Русско—Японской войны в Манчжурии, в целом, — исчерпавший отведенный Судьбою ресурс хозяйничания в России режима Романовых. Того самого режима, что «позволил себе» сперва содержать во главе Главного Морского штаба самодура и воинственную бездарность Рожественского; допустить, чтобы она оценивала и утверждала бредовые «стратегические решения»; поручить ей командование огромной эскадрой, восемь месяцев, как «Бакинский этап» по Волге, проболтавшейся в вкругафриканском походе; и, наконец, разрешить ей, — обладательнице «железной силы воли», — подставить суда Второго Тихоокеанского флота под орудия адмирала Того, оконфузиться, струсить, потерять все суда и их экипажи, предать честь России; и, наконец, сдаться безвестному японскому офицеру, командиру миноносца «Сазанами» капитан–лейтенанту

Айба, забыв о вверенных ему кораблях с истекающими кровью моряками, и… спастись, спрятавшись в плену.

… Всё это, связанное с Цусимою и её «архитектором» Хейхациро Того, меня теперь мало трогало. Как–то ближе и существенней были сетования моей собеседницы Иосие–тян. Связаны они были с её садом, о котором я уже упоминал. Дело в том, что со времени, когда в нём отдыхала мама, «кое–что» изменилось: над пожухлыми вершинами некогда роскошных деревьев нависали… огромные, прямо циклопические /в сравнении со ставшим малюсеньким и жалким домиком, в котором когда–то случилось взволновавшее маму событие/ короба многоэтажной транспортной эстакады–развязки, склёпанные из мощных стальных балок, покрытых «кубовой» краской.

Но цвет «морской волны», превращающий суда в невидимки, не снимает с этих многотысячетонных монстров их раздавливающей функции современного японского городского пейзажа. С самого начала описания моего пребывания в этой замечательной стране, поражающей совершенно неповторимой по пышности и красоте природой, я дал себе слово не обеднять увиденного. Потому и нет у меня описания записных красот этой удивительной островной державы. Когда–то, в романе «Путешествие вверх по Красной реке» я уже рассказал о них в повести о маминой юности…

Но эти эстакады в четыре, пять,… восемь ярусов! Они страшны, они превращают пейзаж японских городов в нечто подобное «страшилкам» кино, предлагающим зрителю взглянуть на будущее планеты Земля и на своё в нём насекомское существование… Страшно… Слава Богу, эстакады эти — не везде. В новых районах мегаполисов транспортные коммуникации загнаны под землю или проложены в глубоких желобах, тонущих в зелени…

Но домик Иосие–тян — его очень жаль, как жаль хозяйку, «которая живёт в доме, в котором жила мама и который теперь посетил я…»

Быть может, угнетающее соседство рычащей выхлопами тысяч машин эстакады неприятно ещё и потому, что… совершенно удивительный человек — японец со старинных фресок времён Минамото, и он же — великий японский телеоператор, друг Акахито Кейсуки Табата, — не сводит с моего лица объектива телекамеры, а ещё двое его ассистентов снимают меня с «передвигающихся» точек. Снимают круглые сутки. Снимают, когда сплю; когда иду в сауну — и в сауне снимают: делают «Большой Фильм», который должна видеть «вся Япония»! Они

снимают, а я начинаю под их непрестанным вниманием сходить с ума… И их постоянный совет: «успокоиться и не обращать внимания» превращается в «наоборот»: становлюсь постепенно человеком из старинных анекдотов, которому советуют, во избежание возможных неприятностей, ни в коем случае не думать о красной заднице павиана…

Знал бы, что они теперь ежегодно на три месяца будут приезжать сюда в Израиль, и снимать нас здесь, и всюду, куда мы с Ниною будем выезжать! А пока были тихие долгие, — до утренней зари, — вечера, которые Эйшио дарил нам рассказами о только ему известной Японии.

Но, однажды, на веранде своего токийского дома, он обратился к Нине с вопросом: а. что, если она расскажет о своей и семьи своей жизни в Сибири?

Трудно решиться рассказывать о событиях многолетней давности. Ещё труднее «вспоминать» их, когда ты была во младенчестве. И знаешь о них по рассказам тогда, таких же, как ты, только чуть старше.

Родители молчали. Не хотели травмировать нашу психику. Тем более озлоблять нашу память. Кроме того, в семье не приняты были излишние эмоции при упоминании о том, что постигло нас. Это был «дурной тон». Потому почти всё, что я знаю о судьбе моей семьи до моего рождения и до времени, когда сама стала понимать происходящее, узнала от моих повзрослевших дядек — младших братьев папы.

Уже взрослой, когда давно не стало мамы, отец позволил мне прочесть её записки — они были продолжением известного «Дневника женщин-Адлербергов», начатого в конце 90–х гг., XVIII в. Слава Богу, язык его был мне так же родным. И я могла читать его. В моём рассказе мне придётся использовать записи мамы — заимствовать детали этапа и быта на прииске. Без драматизма, противопоказанного нам.

Сама я, вырастая, никогда никаких дневников не вела. И, ещё не знакомая с Давидом Самойловичем Самойловым — настоящая фамилия его Кауфман — с будущим нашим другом, — знала, что «В двадцатом веке дневники /не пишутся, и ни строки/ потомкам не оставят. /Наш век ни спор, ни разговор /ни заговор, ни оговор/ записывать не станет…»/

Уж и не знаю, что случилось бы с оставшимися после 1881 года; в России Адлербергами. Множество полегло их в Гражданской войне. Не меньше — на Первой мировой, — 36 покойников было в поминальном списке, отданном дядей бабушки клиру храма Богоявления, что в Елохове в Москве, к осени 1916, когда податель его граф Николай Николаевич

вернулся в Россию отмучась в лагерях для интернированных. Впереди был 1917–й. Полномочному послу — «Министру» при Баварском дворе, — ему было предложено войти в состав коллегии комиссариата иностранных дел РСФСР. Он отказался. Чичерин посоветовал ему «исчезнуть».

Николай Николаевич исчез в житомирщину, на фольварк своего бывшего вестового, немецкого колониста из екатерининских меннонитов. С собой взял он, «что осталось», — племянницу /бабушку мою/ и её десятилетнюю дочь — мою маму.

Я же сказал тогда: что с живыми случится — до Фени мне. Перед мёртвыми стыдно!

…7 декабря 1941 года в Смышляевке под Самарой расстреляны 34 моих соседа по камере Центрального изолятора БЕЗЫМЯНЛАГа. 34 еврея, о которых знаю только, что они были евреями и своего еврейства не предали.

Вот их имена: Фридман Наум Моисеевич, кузнец из Рославля;
Шкляш… из Хжанува;
Фербер… из Бенжзина;
Гиббман Макс Моисеевич;
Зинке Эзра Израилевич;
Глински Генрих Исроэл;
Зеликман Павел Исаакович, рав из Иркутска;
Быков Григорий Наумович;
Беленький Иосиф;
Вилькин Макс Иосифович;
Пориц;
Умнов;
Сохер /Израиль?/;
Заславский;
Дворкин Леонид Григорьевич, рав из Хиславичей;
Шляпинтох Яков Шлоймович;
Белкин Игорь Соломонович;
Хавкин Израиль Эльевич;
Межеричер Эрнст Григорьевич;
Бахрах Яков Исаакович;
Бершадский Илья Ильич;
Гнедин Илья Абрамович;
Вайнштейн;
Шахтман /Шехтман/ Исаак;
Агурский Миша /Григорьевич?/;
Цалюк Моисей Львович;
Соломон Гирш Самуилович;
Слуцкер Абрам Эммануилович;

Гликман Хаим Залманович;
Ривкин Самуил, рав из Шахт;
Быков Константин Моисеевич;
Цукерман /Карл?/;
Краснер Игорь;
Речицивер.

34 еврея из 22–й камеры, 34 еврея из одного только изолятора, которых в БЕЗЫМЯНЛАГе было все 32, и о которых я и сообщил Соломону Михоэлсу весной 1944 года. 34 еврея из более миллиона /вчитайтесь в само письмо!/, согнанных отступлением Красной армии с территорий Восточной Европы, оккупированных ею в 1939–1941 гг. И расстрелянных в БЕЗЫМЯНЛАГе.

Где было мне, тогда «зафитилённому» зэку с «Бунге» на Новосибирских островах, знать, что библейской значимости — почти по Иисусу Навину — массовые казни евреев в нашей стране валились на Гитлера, превращая его из хулиганствующего погромщика–юдофоба в мировой значимости фигуру первой звёздной величины! Наши интересанты–прагматики, отлично зная что творят, масштабностью нацистских акций против евреев начали прикрывать воистину чудовищные преступления большевистско–комиссарского и сталинского режимов против народов России. И, надо должное им отдать, преуспели на час. На какое–то время увели в тень кремлёвского «мужикоборца» и его предтеч, истребивших треть населения только скогтённой ими страны.

И увенчав лаврами Главного Жидобоя Европы /своего «оппонента»/ и, конечно, сняв пенку с этого варева, все те же наши интересанты возвели таки Гитлера на пьедестал ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА XX столетия!

А совесть? Пусть не совесть — этика! Где они? Но уже сказано было, — пусть не классиками: «Какой может быть в этот момент Козлевич?»

Все это понял я значительно позднее. Если точно, — через 47 лет. В святом, естественно, городе Иерусалиме, добравшись наконец до самой–самой Главной Синагоги планеты, расположенной на столичной улице Кинг Джордж. Понял, естественно, в смысле окончательно, когда на понимании моём была подвешена государственная печать, исполнена подпись и даже кляксою удостоверены все перечисленные реквизиты этой козлевичеаны…

Чистосердечное признание предопределяет смягчение вины. А я виновен: не только в кинг–джорджской синагоге, но и в Музее, не страшась, заявил: все 34 еврея в моих списках убиты Сталиным! Как и все остальные, о которых я им рассказал.

Шутники из «Яд вашем», — великолепно владевшие идиш и почему–то не стеснявшиеся на нём объясняться, — шутили потом: — «Убитые?! Сталиным?! Так они же там сами всех убивали!»

Так вот, я не только признался в убийстве Сталиным 34–х моих товарищей по камере 22. Я сообщил им, что от голода и побоев там же, не дожив до «суда», то есть до 1 декабря 1941 года, умерли 28 ноября Яша Клугман и 30 ноября Яша Рухимович, — первый из Речицы на Днепре, лётчик, старший лейтенант, второй из Белой Церкви. И ещё тысячи тысяч евреев…

Пухом пусть пребудет им земля беззвестных могил их…

А подробности нужны мне, сколько помню себя искавшего без вести пропавших. И не раз смотревшего в глаза близким их…

… Первый кидуш по ним — в 2116 зоне БЕЗЫМЯНЛАГа. Участников не помню. Второй — в штольне шахты «Земли Бунге» на Котельном острове Ледовитого океана, где спрятал нас прокурор Раппопорт, — и ему земля пухом! Отмолил души еврейские пастор Георг—Пауль Трокслер, швейцарец. Несомненно, несравнимо более кошерный служитель Единого Господа, чем кабланы от «веры» на моей «исторической», попытавшиеся меня ободрать…

Потом поминали их в Братске, на Мостовой колонне ОЗЕРЛАГа № 7. Там кидуш исполнили отец Афанасий, — Дмитрий Иванович Алексинский, — и епископ–синдуист Йошияку Кицу, настоятель храма Инасу в Нагасаки.

Поминали их и в Америке, когда «заставало» нас там «7–е декабря».

Местом поминовения их в Москве была Хоральная синагога. Хотя, конечно, мы отлично знали степень её святости, истекающей с Лубянской горки.

И вот я в Израиле, куда только вчера, 29 января 1991, прилетели.

Сколько лет мечтал я о кидуше по убиенным евреям именно на Земле Израилевой в годовщину их гибели — 7–го декабря?! Но ждать придётся долгонько: до времени поминовения оставалось ещё более десяти месяцев. Пошел в синагогу на Кинг Джордж только чтобы заранее всё узнать, сговориться и уточнить детали церемонии. Раввин, колыша слоновьим брюхом, долго манежил меня в вестибюле: вроде бы не понимал. Выяснилось: врёт! Идиш знает в совершенстве, но боится, что попрошу милостыню — денег…

На втором этаже офиса к нам присоединился еще один: брюхатый шамес, напомнивший: «у евреев кидуш полагается совершать в день смерти. Р-раз! Нужно доказать, что навязываемые ему /?!/ покойники — евреи по Галахе. Два-а!

Потому нужна справка от их /?/ раввинов с мест их рождения. Тр–ры!….;Хряк нес что–то еще, через слово повторяя, как заклинание, «кесеф!», «кесеф!», «кесеф!»;, «кесеф!»…

Я одёрнул болтуна. Кругового обзора пуговки его глаз налились, ненавистью и… страхом. Не иначе, в «прошлой» жизни — рыночный ганеф, значит, тварь хитрая, он рукою прикрылся…„ Мне стало до рвоты противно…

А он «встряхнулся» и, вдогон, криком: — «Сколько их у тебя?… А? Сколько–сколько?! Вейз мир! Тридцать шесть покойников! И деньги есть?! У тебя есть такие деньги?!«… А ведь ещё только 1 февраля 1991!

Ушел, как из говна выбрался. В голову лезло чёрт знает что. Наконец, влезло приблизительное, мягкое донельзя, — губермановское:

«… Я смущён не шумихой и давкой,
а лишь тем, что повсюду окрест
пахнет рынком, базаром и лавкой
атмосфера общественных мест…»

Что оставалось делать? Ждать декабря, чтобы вот такие вот жирующие хряки сызнова получили возможность поиздеваться? Не дождутся, паскуды!

… 3 февраля 1991, в воскресенье, собранием клира четырёх Церквей, более тысячи лет опекающих самый знаменитый в истории человечества Молитвенный Дом, совершили в Нём — в Храме Гроба Господня Старого Города — шестичасовую мессу — поминальную молитву по тридцати шести убитым евреям. Ещё два часа, по окончании службы, собравшиеся под сводами молящиеся, туристы, паломники и репортёры СМИ приносили мне /!/ свои соболезнования… И денег не взяли!

В то утро почувствовал, что поднялся, — вопреки «поднимателям», — в Святой Город на Горе, который снился многие годы.

… И снова двадцать часов полёта. Вновь Париж. Вновь путь в небе над ГУЛАГом — Россией. И снова в стране Ниппон. У друзей… Пролетело 50 лет со дня гибели «36–и»! Их не отпетая еврейским государством и рабанутом смерть покоя никак не даёт и точит… Знаю, ЧТО есть эта институция, помню, что она сделала с моим прадедом Борухом—Довидом и его друзьями! Но существует «традиция». И как бы ни была она обосрана «берегущими» её — она есть! Она ещё живёт… Во мне, хотя бы… Потому и болит сердце…

А возмущённая мерзавцами память всё ещё в Иерусалиме, ещё 2–го февраля… И хотя, за давностью, многое уже улетучилось, и уплыло, до сегодня не могу забыть, как ещё раз,

перешагнув отвращение, снова явился в тот же Дом на Кинг Джордж. Было это за сутки до назначенной на 3–е февраля 1991 года мессы в Храме Гроба Господня. Думал: согласятся, может, евреи на кидуш без ишур — попрошу извинения у христиан, знавших, почему пришел к ним отпевать иудеев. А отец Андроник из Монастыря на Скопусе и так простит и поймёт. Человек же. В вестибюле и офисах синагоги те же животы, те же тройные затылки — та же «атмосфера рынка, базара, лавки»…

— Кидуш тебе в копеечку влетит, пан! У тебя такие деньги есть? — Деньги были. Не было желания общаться с менялами в храме…

Между тем, заканчивалась подготовка «Встречи у Моря», — так когда–то назвали мы с Андрюшей Чамберсом задуманное нами сборище по спасению островитян Дальнего Востока. Он с сыном Лёвой–младшим, океанологом и давним исследователем Охотского океанического шельфа, подготовили схему и программу симпозиума. Переговорили с близкими друзьями из РАН России. Отобрали из множества кандидатур самых серьёзных учёных, обладавших мировой известностью. В том числе и тех, кто не только регулярно читает «Нашего современника», — журнал серьёзнейший, в торговле Россией и историей её не участвующий. И если иногда перегибающий палку, то, — мне кажется, — ради того, чтобы привлечь внимание к очередной судьбоносной и не терпящей отлагательства проблеме. Как мой любимый журнал «Москва».

Никаких предварительных зондажей мнений по возможной судьбе островов и их насельников мы не проводили. Но объявили отобранным русским аристократам, что им предстоит, — скорее всего, впервые в жизни, — превратиться в истинных граждан своей страны, чтобы перед лицом терпящих бедствие собственных сограждан и благополучных обывателей другой страны вынести «тот или иной вердикт». Вынести непредвзято и честно, на основании собственных своих представлений, ответственности гражданина и учёного, и, безусловно, в соответствии с волей предков, которых они и представляют.

Вердикт решено было выносить анонимно, как решение о присвоении степени и звания. И «присяжных заседателей» не называть. Как до окончания симпозиума не раскрывать особенностей схемы, по которой участники «Встречи у Моря» соберутся в Японии.

Подготовилась и японская сторона. Её телевизионщики отсняли огромный блок материалов, составивший более 20–и фильмов. Её редакторы собрали советскую прессу и рассказы писателей. Её учёные отработали статистику.

Андрей Львович собрал даже «соображения» православной церкви.

После долгого молчания должен был прозвучать Голос Русского Олимпа.

С устроителями встречи договорились: моё имя нигде фигурировать не будет. Никого я не боялся — я когда–то «Бакинский этап» «разгружал»!… Но в глазах «простых» россиян, — тех самых, что, простаивая бесконечную ночь в бесконечной очереди за тремястами граммами «докторской» колбасы, страшно, переживают из–за… не переданных ещё России скольких–то «боевых кораблей» Черноморского флота, — в их глазах супостатом не буду. Их мне жаль, — тех самых, что вместе со мною десятилетиями обретались по зонам и кичманам, четверть века безропотно ожидали «бесплатных» квартир, полвека — коммунизма, столетиями — доброго, с живых не сдирающего кожу, барина. Мне их очень–очень жаль. И вот в их глазах не хочу славы геростратовой, тем более, горбачёвской. У них ведь всё ещё впереди, у терпеливых моих россиян. Одного не будет, потому, что не может быть никогда, — счастья… Но хоть толике, хоть горстке всеми забытых на островах россиян — неужели не сумею им помочь, — высоко, выше некуда, — вознесенный подвигом Мамы своей. Своими какими–то давними, но, оказалось, не забытыми японцами «добрыми делами». В сущности, человеческим отношением к человекам… И надо–то всего, чтобы звериный оскал, которым боярин с испокон веку, рыча и отрыгиваясь, ощеривается на своих, обернулся бы — хоть однажды, хоть на миг — осмысленным взглядом на им же растоптанную судьбу несчастных островитян.

Всего–то…

8 декабря. «Японский соловей» — Великая поэтесса Нипон Макико Окуда разрезает ленточку выставки «ЭКОЦентра». Им ассистирует мой Лёва Чамберс, — потомок первого полковника Петровых Семёновского и Преображенского полков;. Публика энергично заполняет экспозиционные залы форума.

В тот день: Патриарх японского бизнеса. Масару Микио обращается с приветствием к собравшимся в зале Токийского муниципалитета учёным и промышленникам. Он желает им успешной работы на пленарных заседаниях и в комиссиях. И приятного знакомства с его страною.

… Глубокой ночью этого наполненного событиями волнующего дня все, абсолютно все вопросы были решены. Члены президиума и комиссий собрались в кабинете мэра, чтобы сообща подготовить и подписать Обращение к Народам и главам правительств СССР и Японии с просьбой согласиться с решением

«Встречи у Моря». Моего тогдашнего состояния мне сейчас не передать нипочём — оно непередаваемо было…

В кабинет, где я, изнервничавшись, отпивался какой–то бурдою американского происхождения, и где получал ежеминутные сводки «с поля боя», начали просачиваться поздравляльщики — японцы и россияне, мои товарищи по когдатошней работе в Большой Науке, по ВАКу, по делам в Арктике…

Отключённый по моему настоянию телефон вдруг заверещал отчаянно… Я трубки не брал. Но кто–то из заполнивших кабинет автоматом приложил её к уху… — Вас! Очень срочно! —

— Господин Додин–сан! извините, пожаруйста, но… пожаруйста, извините!… Там… В вашей бывшей /?!/ государстве, извините пожалуйста… Эти… Извините… руководители… Украины, Белоруссии и вашей бывшей… Ельцин… — они развалили СССР!… Понятно?! СССР больше нет! Нет СССР! Понятно?… Это Найто! Найто это!…

— Спасибо, Найто–сан! Спасибо, дорогой Ясуо!…

— Додин–сан! Новость сообщил господин Хироши Имаи из Бонна! Он вас просил предупредить… Он посылает вам… соболезнование… Или как?!

— «Или как», Ясуо, «или как»… Сам посуди, Ясуо, тюрьма же развалилась! Главное–то в… той стране было — тюрьма!

А сам плачу. От обиды. Что вот так кончили с нею, как блатные в малине: скрутили втихаря на хате лесной, ласты за спину позагнули, и — из–под клифта — пером по горлу… Хотя, конечно, может он того стоит — СССР, под завязку упившийся кровью «граждан» своих? По мне, кроме Колымы, да ГУЛАГа от Чукотки до Воркуты, кроме ядерных гноищ — эти по Всеа России — ничего отвалившиеся народы не потеряли.

Так почему сердце, будто его — в кипяток? Из–за чего слёзы…? Слёзы потому что больно хоронить уверенность жителей Курил…;

… … . .

Позади пустые хлопоты на Кинг Джордж в Иерусалиме. Позади месса в Храме Гроба Господня, предварённая новым торгом с соплеменниками, отлично понимавшими, что от них требовалось, и полагавшими, конечно, что никуда новый оле от них не денется, падло, приползёт. И, «на блюдечке с золотой каёмочкой», поднесёт баксы.

Не поднёс.

И, через сутки, 3–го февраля, христиане закатили мессу!

Но только утром 7 декабря 1992 года окончились дёрганья за нервы, длившиеся одиннадцать месяцев по делу, выеденного яйца

не стоившему: по–людски отпеть убитых Сталиным евреев. Что же, в Израиле не получилось, подозреваю, потому, что государство это… не еврейское оно вовсе. Вот, если бы душка-Гитлер их убил! О! Тогда их бы отпели, занесли–оприходовали в компенсационный реестр. А в СССР евреев не убивали! В СССР, слава Богу, евреи убивали сами. Да, что–то там такое было — с каким–то еврейским актёришкою. Если только это не провокация «правых».

…Утром 7 декабря, самолётом Ибуки, мы, — со–но–идасо Ивасаки Кобаяси, Масару Ибуки, Нина и я, в сопровождении трёх звёзд японской и мировой оперы, — молодых блистательных солистов — Накамару Мичие, певицы, Суванаи Акико, скрипачки, и Сайто Юкари, балерины, — летим в Киото. И там, в Храме Кийомидзжи—Кийомитсудера–дефа, или в «Большом Храме», буддийский архибишоп Морисада Окане совершает старинный ритуальный обряд отпевания Воинов—Героев; звучат фортепианные дуэты Моцарта и Рахманинова;;.

… Открытое крыло тысячелетия назад сложенной из лесин–великанов Кумирни… Вокруг — стеною — заснеженный лес на укрытых снегом отвесных скалах. И над этим сказочным великолепием Природы — скрипка… И голос. И, откуда–то из глубин веков, медленный танец–пантомима…

notes

Примечания

1

Таёжная трагедия Соошио — см. Монолог Нины